

БОЛЬШИЕ И КНИГИ

Арчибальд
Кронин



ЮНЫЕ ГОДЫ
♦
ПУТЬ ШЕННОНА

«ИНОСТРАНКА»



Иностранная литература. Большие книги

Арчибальд Кронин

Юные годы. Путь Шеннона

«Азбука-Аттикус»

1944, 1948

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Кронин А. Д.

Юные годы. Путь Шеннона / А. Д. Кронин — «Азбука-Аттикус»,
1944, 1948 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-17078-0

Романная дилогия шотландского писателя Арчибальда Кронина «Юные годы» (1944) и «Путь Шеннона» (1948) во многом автобиографична. Ранняя смерть родителей вынуждает шестилетнего Роберта Шеннона искать приют в доме родственников, которые начинают соперничать друг с другом за влияние на мальчика. Трудности взросления, конфликты со сверстниками, первая дружба и первое предательство, бедность, принадлежность к католическому религиозному меньшинству и, как следствие, косые взгляды окружающих — все это доведется испытать Роберту в его детские и отроческие годы. Однако, целеустремленный и упорный, он находит в себе силы сохранить верность своим увлечениям и честолюбивым мечтам, вырваться из тесного для него провинциального мирка, осознать свое научное призвание и сделать первые шаги в профессии. Во втором романе дилогии Роберт — молодой амбициозный врач-инфекционист, недавно вернувшийся с войны, работающий в научно-исследовательском институте и стоящий на пороге этапного открытия в области бактериологии — сталкивается с завистью коллег и бюрократическими интригами и, не умея идти на компромиссы, теряет место и вынужденно становится практикующим врачом, параллельно продолжая свои изыскания. Ему также приходится пройти испытание любовью к красивой и умной Джин Лоу, чье благополучное и обеспеченное будущее, расписанное наперед ее родителями, после встречи с Робертом уже не может быть таким, каким мыслилось прежде...

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-17078-0

© Кронин А. Д., 1944,1948

© Азбука-Аттикус, 1944,1948

Содержание

Юные годы	7
Часть первая	7
Глава 1	7
Глава 2	11
Глава 3	14
Глава 4	20
Глава 5	28
Глава 6	31
Глава 7	36
Глава 8	41
Глава 9	47
Глава 10	51
Глава 11	55
Глава 12	60
Глава 13	65
Глава 14	69
Глава 15	75
Глава 16	79
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Арчибальд Кронин

Юные годы; Путь Шеннона

A. J. Cronin

THE GREEN YEARS

Copyright © A. J. Cronin, 1944

SHANNON'S WAY

Copyright © A. J. Cronin, 1948

All rights reserved

Перевод с английского Татьяны Кудрявцевой

© Т. А. Кудрявцева (наследник), перевод, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019 Издательство Иностранка®

Юные годы

Часть первая

Глава 1

Крепко держась за мамину руку, я вышел из-под мрачных сводов железнодорожного вокзала на залитую солнцем улицу незнакомого городка. Я с готовностью доверился своей новой маме, хотя до сих пор ни разу не видел ее, а ее изнуренное, озабоченное лицо, с выцветшими голубыми глазами, совсем не было похоже на лицо моей покойной мамочки. Никакой особой любви к маме я не почувствовал: даже шоколадка, которую она купила мне у автомата, не расположила меня к ней. Всю дорогу из Уинтона, пока мы медленно тащились в вагоне третьего класса, мама сидела напротив меня; на ней было поношенное серое платье, заколотое большой брошью из дымчатого кварца, тоненькая меховая горжетка и черная шляпа, широкие поля которой ниспадали ей на уши; склонив голову набок, она смотрела в окно, и губы ее шевелились, словно она беззвучно, но весьма оживленно беседовала сама с собой; время от времени она прикладывала к уголку глаз платок, точно хотела смахнуть назойливую муху.

Но как только мы вышли из вагона, она постаралась стряхнуть с себя мрачное настроение, улыбнулась и крепче сжала мою руку.

– Вот умница: перестал плакать. Ну как, дойдешь пешком до дома? Это не очень далеко.

Мне хотелось угодить ей, и я ответил, что, конечно, дойду; поэтому мы не сели в кеб, одиноко поджидавший пассажиров у выхода из вокзала, а направились по главной улице, и мама, пытаясь развлечь меня, показывала мне все достопримечательности, мимо которых мы проходили.

Мостовая у меня под ногами то вздымалась, то опускалась, в голове все еще отдавался грохот валов Ирландского моря, а в ушах стоял гул от стука машин на «Вайпере». И все-таки, когда мы подошли к красивому зданию с колоннами из полированного мрамора, стоявшему чуть в стороне от тротуара, позади двух чугунных пушек и флагштока, я услышал, как мама сказала с затаенной гордостью:

– Это ливенфордский муниципалитет, Роберт. Мистер Лекки... наш папа... служит тут: он заведует отделом здравоохранения.

«Папа, – попытался осмыслить я. – Муж этой мамы... отец моей покойной мамочки».

Я устал и еле волочил ноги; мама озабоченно поглядывала на меня.

– Какая жалость, что трамваи сегодня не ходят, – сказала она.

А я и не предполагал, что так устану; да и напуган я был изрядно. Серый свет сентябрьского дня безжалостно озарял городок, мощный булыжником и полный всяких незнакомых звуков, совсем не похожих на привычное шуршание машин, пролетающих мимо раскрытых окон нашего домика в Феникс-Кресцент. Из доков доносился громкий перестук молотков, а из труб Котельного завода, на который мама указала мне пальцем в лопнувшей перчатке, вырывались такие страшные языки пламени и пара! На улице перекладывали трамвайные пути. На углах ветер завихрял пыль, она засоряла мои распухшие от слез глаза и забиралась в горло.

Вскоре, однако, весь этот шум и грохот остались позади: мы пересекли городской сад, посредине которого поблескивал пруд и возвышалась круглая эстрада для оркестра, и вышли на тихую окраину, казавшуюся маленькой деревушкой, уютно притулившейся у лесистого пригорка. Тут были и деревья, и зеленые поля, несколько допотопных лавчонок и домиков, кузница и возле нее колода, из которой поили лошадей, а совсем неподалеку выстроились новень-

кие виллы со свежевыкрашенными железными оградами и аккуратными клумбами, и у каждой виллы – высокопарное название вроде «Обитель Эллен» или «Гленэльг», выведенное золотом по цветному стеклу круглого оконца над входом.

Дойдя до середины Драмбакской дороги, мы наконец остановились у серого двухэтажного домика из песчаника, примыкающего к другому, точно такому же; в окнах его виднелись кремовые тюлевые занавески, а надпись над дверью гласила: «Ломонд Вью». Это был самый невзрачный дом на всей тихой улочке – только двери и окна были облицованы камнем, стены же так и остались неотделанными, что явно свидетельствовало о скудости средств владельца; неприглядность постройки скрашивал палисадник, в котором пышно цвели желтые хризантемы.

– Ну вот мы и пришли, Роберт, – заявила миссис Лекки все тем же прочувствованно-радушным тоном, потеплевшим от сознания, что мы наконец прибыли домой. – В ясную погоду отсюда открывается прелестный вид на гору Бен. Хорошо тут у нас: до деревни Драмбак рукой подать. Ливенфорд – старый, прокопченный город, но вокруг чудесные места. Вытри глазки – вот так, миленький, и пойдем в дом.

Носовой платок я вытряхнул вместе с печеньем, когда кормил чаек, но глаза я все-таки вытер и послушно вслед за мамой завернул за угол дома; сердце у меня снова заколотилось от страха перед тем неведомым, что ждало меня. В ушах моих еще звучали слова нашей дублинской соседки, миссис Чэпмен; движимая самыми лучшими материнскими чувствами, она неосторожно сказала, целуя меня в то памятное утро на уинтонской пристани, прежде чем навсегда отдать маме: «Что-то будет с тобой дальше, бедненький мой!»

Подойдя к двери, мама остановилась: молодой человек лет девятнадцати, стоя на колених, рыхлил цветочную клумбу; завидев нас, он поднялся, но лопаты из рук не выпустил. Вид у него был сосредоточенный и флегматичный; одутловатые бледные щеки, черные лохматые волосы и большие очки с сильными стеклами, за которыми его близорукие глаза казались совсем крошечными, лишь подчеркивали это впечатление.

– Опять ты за свое, Мэрдок! – не удержавшись, с мягкой укоризной воскликнула мама. И, слегка подтолкнув меня вперед, добавила: – Это Роберт.

Мэрдок тупо уставился на меня. Позади дома был дворик с аккуратно подстриженным газоном, по одну его сторону – грядка ревения, по другую – куча ноздреватого серого шлака и золы, спасительного средства от слизняков, а по углам – железные столбики, к которым прикреплялись веревки для сушки белья. Наконец Мэрдок весьма торжественно изрек:

– Так, так... Вот он, значит, и прибыл.

Мама кивнула – в глазах ее снова появились тревога и печаль; а Мэрдок чуть ли не театральным жестом уже протягивал мне свою широкую мозолистую, заскорузлую от общения с кормилицей-землей руку.

– Рад с тобой познакомиться, Роберт. Можешь рассчитывать на меня. – И, поспешно глянув сквозь свои большие очки в сторону мамы, добавил: – Эти астры мне дали в питомнике, мама. Они не стоили мне ни пенса.

– Хорошо, мой дорогой, – сказала мама, поворачиваясь и направляясь в дом, – только смотри успеешь вымыться до папиного прихода. Ты же знаешь, как он сердится, когда застает тебя здесь.

– Я уже заканчиваю. Сейчас приду. – И прежде чем снова опуститься на колени, Мэрдок добавил, чтобы умиротворить мать, уже входившую со мной в дом: – Я там поставил для тебя картошку на огонь.

Мы прошли через маленький чуланчик и очутились на кухне, которая, судя по обстановке, служила также столовой: в ней стояла неудобная резная мебель из красного дерева, стены были оклеены тисненными обоями в кубиках, на одной из них неистово и гулко тикали часы. Велев мне сесть, мама вынула из шляпы длинные булавки и, держа их во рту, принялась

складывать вуаль. Потом приколола вуаль к шляпе, повесила ее вместе с пальто в нишу, задернутую занавеской, сняла с гвоздика за дверью синий халат, надела его и принялась уверенно сновать по вытершемуся коричневому линолеуму, время от времени ободряя меня ласковым взглядом, а я сидел не шевелясь на краешке мягкого стула у плиты и еле осмеливался дышать в этом чужом для меня доме.

– Сегодня будем обедать вечером, дружок: раньше я ничего не успею приготовить. И постарайся не плакать, когда придет папа. Для него ведь это тоже большое горе. А у папы и так уйма забот – шутка ли, занимать такое положение в городе! Кейт – это моя вторая дочка – тоже сейчас придет. Она учительница... Твоя мама, наверно, говорила тебе о ней. – Увидев, что у меня задрожала губа, она поспешно добавила: – О, я прекрасно понимаю, что даже для такого большого мальчика страшновато впервые очутиться среди маминой родни. Но обожди, это еще не все, – пошутила она, стараясь вызвать на моем лице улыбку. – У меня есть старший сын, Адам, он замечательно устроился в Уинтоне в одной страховой компании; он живет отдельно, но навещает нас, как только у него выдается свободная минутка. Потом есть еще папина мама... Сейчас она гостит у своих друзей... но почти полгода живет с нами. И наконец, мой папа; он всегда живет с нами – это твой прадедушка по линии Гау. – У меня уже голова шла кругом от этого перечисления незнакомых мне родственников, но мама, слегка улыбнувшись, продолжала: – Знаешь, что я тебе скажу: не у всякого мальчика есть прадедушка. И тот, у кого он есть, может гордиться этим. Для краткости ты, конечно, можешь звать его просто «дедушка». Вот я сейчас приготовлю ему поесть, а ты отнесешь поднос наверх. Поздороваться с ним, а заодно и мне поможешь.

Руки у мамы были проворные, и за это время она не только успела накрыть стол на пять человек, но и достала облупившийся черный японский поднос овальной формы с нарисованной посередине розой, поставила на него занятную чашку из ребристого белого фарфора, полную чая, блюдечко с джемом, сыр и три кусочка хлеба.

Эти приготовления удивили меня, и слегка охрипшим голосом я спросил:

– А разве дедушка не спускается к столу?

Мама явно смутилась.

– Нет, дружок, он ест у себя в комнате. – Она взяла со стола поднос и протянула мне. – Донесешь? Вот тут лестница – прямо на второй этаж. Только смотри будь осторожен, не уподи.

Держа перед собой поднос, я стал неуверенно взбираться по шатким крутым ступеням незнакомой мне лестницы; посередине ее лежала блестящая дорожка из линолеума. Угасающий свет дня еле проникал сюда через высокое оконце в потолке. На площадке второго этажа, напротив вделанного в стену титана, я увидел две двери. Подергал одну из них – заперта. До другой едва дотронулся – она сразу поддалась.

Я вошел в незнакомую, чудную и страшно захлавленную комнату. В углу стояла высокая медная кровать с покосившимися шишками; она была еще не прибрана, и пестрое лоскутное одеяло небрежно валялось на ней; ковер из медвежьей шкуры у камина был сбит в кучу; полотенце до полу свешивалось с забрызганного умывальника из красного дерева. Внимание мое привлекли черные мраморные часы, какие можно получить только в подарок, а сам себе никогда не купишь, – они лежали на боку среди всякой всячины, загромождавшей каминную доску, а рядом валялся их разобранный на части механизм. В нос мне ударил тошнотворный запах табачного дыма и пищи – смесь весьма разнородных и трудноопределимых ароматов, которые, так сказать, создавали букет этой давно обжитой комнаты.

Мой прадедушка, в дешевеньком грубошерстном костюме и рваных зеленых ковриковых туфлях, сидел у заржавевшего камина, весь уйдя в массивное мягкое кресло – не кресло, а развалину, – и уверенно водил пером по большому листу плотной бумаги, лежавшему вместе с переписываемым документом на низеньком столике, покрытом некогда зеленым сукном. По одну руку от старика выстроилась внушительная коллекция палок для гулянья, по другую –

длинный ряд глиняных трубок с металлическими чубуками, набитых табаком и готовых к употреблению, возле них – коробочка с полосками газетной бумаги для раскуривания.

Прадедущка был широкоплечий старик лет семидесяти, выше среднего роста, румяный, с копной все еще рыжеватых волос, красиво рассыпавшихся по плечам. Когда-то волосы у него были просто рыжие, но с годами они утратили свою пламенеющую яркость и, еще не успев поседеть, приобрели удивительный, при определенном освещении положительно золотой оттенок. Того же оттенка были буйно курчавившиеся усы и борода деда. Белки его глаз были, правда, все в желтых прожилках, зато зрачки – ясные, а сами глаза – голубые, пронизывающие, не выцветшие, как у мамы, но живые, ярко-голубые (настоящие незабудки!), чудесные, выразительные глаза. Однако самым примечательным в его лице был нос. Это был крупный нос – крупный, красный и шишковатый; я взирал на него с благоговением, и мне пришло на ум, что он больше всего похож на огромную перезрелую клубнику: и цвет такой же, и даже весь в крошечных дырочках, совсем как эта сочная ягода. Казалось, на лице только и есть что этот примечательный нос – никогда еще я не видел ничего подобного, никогда.

Тут дедушка кончил писать, заложил перо за ухо и медленно повернулся ко мне. При этом сломанные пружины кресла, хотя под них и была подоткнута оберточная бумага, мелодично звякнули, как бы подчеркивая драматизм нашей встречи. Мы молча разглядывали друг друга; я вышел из оцепенения, в которое поверг меня на какой-то миг нос деда, и, представив себе, какую жалкую картину являет собой моя особа: какой я бледный, заплаканный, неописуемо рыжий, в черном костюмчике, купленном в магазине готового платья, один носок спустился, шнурки на ботинках развязаны, – покраснел.

Все еще молча дед отодвинул в сторону свои бумаги и немного нервным, но энергичным жестом указал на свободную теперь часть стола, куда я и поставил поднос. Дед начал есть. Торопливо, с величайшим безразличием ел он сыр попеременно с джемом и все смотрел на меня, опуская взгляд лишь затем, чтобы размочить корку в чае. Потом залпом выпил чай, рукавом обтер бакенбарды, не глядя протянул руку, точно еда была лишь вступлением к курению или чему-то еще более приятному, и закурил трубку.

– Значит, ты и есть Роберт Шеннон? – Тон у него был сдержанный, но дружелюбный.

– Да, дедушка, – как бы извиняясь, еле выдавил я из себя, не забыв, однако, мамин наказ называть его просто «дедушкой».

– Хорошо доехал?

– Да, дедушка.

– Отличные корабли «Эддер» и «Вайпер»! Мне довелось видеть их у причала, когда я служил в армии. Только у «Эддера» по борту проходит белая полоса – этим они и отличаются друг от друга. А ты умеешь играть в шашки?

– Нет, дедушка.

Он ободряюще и в то же время слегка снисходительно кивнул.

– Ничего, мальчик, со временем научишься, если будешь здесь жить. А насколько я понимаю, ты будешь здесь жить.

– Да, дедушка. Миссис Чэпмен сказала, что больше мне некуда деваться. – Жгучее чувство одиночества, волна жалости к самому себе захлестнули меня.

Вдруг мне ужасно захотелось, чтобы дедушка посочувствовал мне, нестерпимо захотелось раскрыть ему свою душу, поведать о грозящей мне участи. Знает ли он, что мой отец умер от туберкулеза, ужасной наследственной болезни, уже унесшей в могилу двух его сестер, – болезни, с невероятной быстротой сгубившей мою мамочку, болезни, которая, как уверяли, наложила свою печать и на меня?..

Но дедушка, задумчиво попыхивая трубкой, продолжал оглядывать меня с легкой иронической усмешкой, и когда заговорил, то совсем о другом.

– Тебе восемь лет, да?

– Почти восемь, дедушка.

Мне очень хотелось, чтобы он считал меня совсем маленьким, но дедушка был неумолим.

– Ты уже в таком возрасте, когда мальчик должен уметь постоять за себя... Впрочем, надо признаться, ростом ты не вышел... Ну а гулять любишь?

– Мне не приходилось много гулять, дедушка. Когда мы летом ездили отдыхать в Порт-раш, я гулял по Дороге гигантов. Но только в одну сторону, а обратно мы возвращались по железной дороге в маленьких вагончиках.

– Так я и знал. Ну ничего, мы с тобой совершим несколько прогулок и тогда посмотрим, как на нас подействует добрый шотландский воздух. – Он помолчал немного, как бы впервые обсуждая что-то сам с собой. – Рад, что у тебя мои волосы. Рыжие – в Гау пошел. У твоей бедной мамочки тоже были такие.

Больше я уже не мог сдерживать нахлынувшие на меня чувства и почти по привычке дал волю слезам. Прошла всего неделя, как похоронили мамочку, и одно упоминание ее имени вызывало во мне этот рефлекс, а сочувствие, которое все начинали тотчас проявлять, лишь распаляло меня. Однако сейчас ни полногрудая миссис Чэпмен не погладила меня успокаивающе по спине, ни отец Шенли из церкви Святого Доминика не стал изливать на меня свои пропахшие нюхательным табаком соболезнования. Я быстро смекнул, что прадедушка не одобряет моих слез, и мне стало ужасно стыдно; я попытался успокоиться, неловко вздохнул и закашлялся. Я все кашлял и кашлял, пока у меня не закололо в боку, так что я вынужден был схватиться за него. Такого кашля у меня еще никогда не было – у отца моего и то редко бывали такие сильные приступы. По правде говоря, я даже преисполнился гордости и, когда кашель прекратился, выжидательно посмотрел на деда.

Но он не стал успокаивать меня и вообще не сказал ни слова. Просто достал из кармана пиджака жестяную коробочку, нажал на крышку – она отскочила, и он вынул большую плоскую мятную лепешку, которую в народе называют «дружком». Я думал, что дедушка даст ее мне, а он, к моему изумлению и огорчению, преспокойно положил ее себе в рот. Затем сурово изрек:

– Не выношу плакс. А твой слезоточивый механизм, Роберт, видно, расположен у самых глаз. Надо держать себя в руках, мальчик. – Он вынул из-за уха перо и выкатил грудь колесом. – Мне в жизни пришлось преодолеть немало трудностей. И ты думаешь, я сумел бы их осилить, если б согнулся под их бременем?

Дедушка уже собрался с глубокомысленным и весьма напыщенным видом произнести на эту тему целую речь, но в эту минуту на первом этаже зазвонил колокольчик. Он запнулся – как мне показалось, с явным разочарованием – и махнул трубкой, чтобы я шел вниз, а сам снова взялся за перо. Я же, забрав пустой поднос, пристыженный, на цыпочках направился к двери.

Глава 2

Внизу, на кухне, меня поджидали мистер Лекки, Кейт и Мэрдок, только что вернувшиеся домой, а также мама; молчание, внезапно воцарившееся в комнате, указывало на то, что я был предметом разговора. Подобно большинству детей, выросших без сестер и братьев, я страдал болезненной застенчивостью, которую теперешнее мое положение лишь усугубило; к тому же я смутно догадывался, какая глубокая пропасть разделяла покойную мамочку и мистера Лекки, которого отныне я должен был звать папой, а потому я весь сжался и застыл, не зная, что делать дальше; но тут папа, прихрамывая, подошел ко мне, взял меня за руку, подержал ее в своей и вдруг, нагнувшись, поцеловал меня в лоб.

– Рад с тобой познакомиться, Роберт. Очень сожалею, что мы раньше не встречались.

Тон у него был не злой, как я почему-то опасался, а грустный и подавленный. Не надо плакать, твердил я себе, но очень уж трудно было удержаться, особенно когда Кейт тоже нагнулась и поцеловала меня – неуклюже, но от всей души.

– Ну а теперь давайте садиться за стол! – с напускной веселостью воскликнула мама и показала мне мое место. – Скоро половина седьмого. Ты, наверно, умираешь с голоду, сынок.

Папа, восседавший во главе стола, склонил голову и прочел молитву – длинную чудную молитву, какой я никогда до сих пор не слышал. Чудным показалось мне и то, что он не прекрестился, а сразу стал нарезать дымящееся вареное мясо, лежавшее на овальном блюде перед ним, тогда как мама на другом конце стола накладывала на тарелки картофель и капусту.

– Это тебе! – сказал папа, скупым, размеренным жестом протягивая мне тарелку с таким видом, точно давал самый лучший кусок. Папа был маленький, весьма невзрачный человечек лет сорока семи, с узким бледным лицом, на котором поблескивали маленькие глазки. Его черные усы были нафабрены и стояли торчком, а волосы тщательно зачесаны, чтобы скрыть лысину. На лице его читалось еле уловимое выражение покорности судьбе – такие лица бывают у людей добросовестных и трудолюбивых, но либо не получивших признания, либо, по их мнению, недостаточно вознагражденных за это жизнью. На папе был низкий крахмальный воротничок, черный галстук и весьма неожиданный для человека его склада занятный двубортный костюм из синей саржи с медными пуговицами. Форменная фуражка с лакированным козырьком, почти такая же, как у морских офицеров, лежала на комодѣ позади него.

– Ешь мясо с капустой, Роберт. – Папа перегнулся ко мне и потрепал меня по плечу. – Очень питательно.

Под всеми этими взглядами мне нелегко было управиться со странными ножом и вилок, куда более длинными, чем те, к каким я привык, да и ручки у них были костяные и очень скользкие. К тому же капусту я не люблю, а говядина, маленький ломтик которой лежал у меня на тарелке, была ужасно соленой и волокнистой. Отец мой имел обыкновение весело утверждать, что «только самое лучшее» должно подаваться у нас к столу в Феникс-Кресцент; он и сам нередко приносил домой после работы что-нибудь вкусное, вроде желе из гуайявы или уитстейблских устриц, а потому я был балованным ребенком и таким капризным и разборчивым в еде, что матери последние полгода нередко приходилось обещать мне шесть пенсов и поцелуй за то, чтобы я съел кусочек цыпленка. Однако сейчас я чувствовал, что не должен вызывать недовольство папы, и давился, но ел водянистые овощи.

Решив, что внимание мое занято едой, папа посмотрел на дальний конец стола, где сидела мама, и, возобновляя прерванный разговор, осторожно и явно не без тревоги спросил:

– Миссис Чэпмен ничего у тебя не просила?

– Нет, ничего, – отвечала мама, понизив голос. – Хотя она, наверно, порядком поистратилась: ведь такие были расходы. По-моему, она хорошая, сердечная женщина.

Папа перевел дух.

– Какое счастье, что в мире еще есть приличные люди! Тебе пришлось взять кеб?

– Нет... везти-то было почти нечего. Он из всего вырос. А вещи, очевидно, забрали те молодчики.

Казалось, папа сейчас задохнется: уставив взгляд в пространство, он с мучительно перекошенным лицом пробормотал:

– Одни сплошные сумасбродства. Чего ж тут удивительного, если после них ничего не осталось.

– Ох, папа, но ведь они столько болели!

– Болели-то много, а вот здравого смысла у них было немного. Ну почему они не застраховали свою жизнь? Застраховались бы – и все было бы в порядке. – Он посмотрел на меня своими глубоко запавшими глазами, а я изо всех сил старался поскорее доесть то, что было у меня на тарелке. – Молодчина, Роберт. Учти: в этом доме ни одна крошка не пропадает зря.

Кейт, сидевшая напротив меня и с мрачным видом глядевшая в окно, за которым сгустились сумерки, точно разговор не представлял для нее никакого интереса, улыбнулась мне неловкой ободряющей улыбкой. Ей минул двадцать один год – значит, она всего на три года

моложе моей мамочки, а как не похожа на нее. То, что у мамочки было красиво, у нее было безобразно: глаза бесцветные, скулы широкие, а кожа сухая, потрескавшаяся, прыщеватая. Волосы у нее были какого-то неопределенного цвета – нечто среднее между рыжими Гау и черными Лекки.

– Ты, конечно, уже школьник?

– Да. – Я покраснел от одного того, что ко мне обратились: мне было очень трудно говорить. – Я ходил в школу мисс Барти в Кресченге.

Кейт понимающе кивнула.

– Тебе там нравилось?

– Очень. Если правильно ответишь из катехизиса или по общеобразовательным предметам, мисс Барти давала конфетку – драже из коробочки, которую она прятала в шкафу.

– У нас в Ливенфорде есть отличная школа. Я думаю, тебе там понравится.

Папа откашлялся.

– Я полагаю, что начальная школа на Джон-стрит... принимая во внимание, что и ты там, Кейт... была бы наиболее подходящей.

Кейт перестала смотреть в окно и перевела взгляд на папу – она была возмущена, чуть ли не разгневана.

– Ты же знаешь, что школа на Джон-стрит – препаришная. Он должен учиться в Академической, где мы все учились. Для человека с твоим положением ни о какой другой школе и речи быть не может.

– М-да... – Папа опустил глаза. – Возможно... но только со второй половины семестра... Сегодня у нас четырнадцатое октября, не так ли? Порасспроси-ка его и выясни, в какой класс его надо определять.

Кейт решительно мотнула головой.

– Он сейчас просто умирает от усталости, его надо немедленно уложить в постель. С кем он будет спать?

Этот вопрос вывел меня из дремоты, в которую я все больше погружался, и, усиленно моргая, я уставился на маму, а она медлила с ответом, – очевидно, другие заботы не дали ей возможности обдумать это раньше.

– Он слишком большой, чтобы спать с тобой, Кейт... А у тебя чересчур узкая постель, Мэрдок... да к тому же ты часто засиживаешься допоздна за книгами. А почему бы нам, папа, не положить его в бабушкиной комнате? На время, конечно, пока ее нет дома.

Но папа отклонил это предложение, отрицательно покачав головой.

– Она платит нам хорошие деньги за свою комнату. Мы не можем вторгаться к ней без ее согласия. Да и потом, она скоро вернется.

До сих пор Мэрдок молча ел, флегматично пережевывая пищу, он низко пригнулся и внимательно, точно сыщик, оглядывал каждый кусочек хлеба; время от времени он брал учебник, лежавший рядом с тарелкой, и подносил его к самому лицу, точно хотел понюхать. Сейчас он поднял голову и с деловым видом посмотрел на всех.

– Пусть идет к бабушке. Ничего другого тут не придумаешь.

Папа кивнул в знак согласия, хотя лицо его при упоминании о бабушке омрачилось.

Итак, вопрос был решен. Хоть я наполовину спал, сердце у меня замерло от страха – еще одно звено в цепи моих бед, звено, которому суждено связать меня с этой странной грозной личностью, живущей наверху. Но возражать я побоялся, да и слишком устал – веки у меня так и слипались. Тут Кейт отодвинула свой стул и поднялась.

– Ну, пойдем, дружок. Мама, у нас есть горячая вода?

– По-моему, есть. Но только оставь и для посуды. Не трать много.

В тесной ванной Кейт помогла мне снять одежду и почему-то покраснела, когда я разделся донага. На самом дне вделанной в пол ванны, до половины желтой и облупившейся, было

налиито немного теплой воды. Кейт нагнулась и стала мыть меня тряпкой, которую она намыливала большим куском шершавого желтого мыла. Голова у меня так и клонилась на грудь, а веки настолько распухли, что я уже не мог плакать. Я всецело подчинился Кейт: она вытерла меня и помогла мне надеть дневную рубашку. Звякнул крючок на двери ванной. Мы стали подниматься наверх. А там, на площадке, из тумана, где плясали волны, покачивался корабль, ревел паровоз в тоннелях, вдруг выплыл дедушка – он стоял, протянув мне навстречу руки.

Глава 3

С дедушкой нелегко было спать: он громко храпел, непрестанно ворочался на свалывшемся тюфяке и прижимал меня к стенке. И все же спал я как убитый, только на заре мне приснился нехороший сон. Я увидел отца в длинной белой ночной рубашке; он дышал зеленым чаем, который кипел в небольшом медном чане с красными резиновыми трубками, – средство, к которому один из его товарищей по службе посоветовал прибегнуть, когда другие лекарства уже не помогали. Время от времени отец прерывал лечение и, задорно блестя карими глазами, смеялся и шутил с моей мамочкой, которая наблюдала за ним, судорожно сжав руки. Потом вошел доктор – пожилой человек с серым, сумрачным лицом. Не успел он войти, как раздался удар грома, в комнату ворвалась большая черная лошадь с развевающимися черными перьями на голове; в горе и ужасе я спрятал лицо в ладони, а мои мама и папа вскочили на лошадь и умчались.

Я был весь в поту, и сердце у меня подступило куда-то к горлу, когда я открыл глаза и увидел, что комната залита солнцем. У окна стоял дедушка, почти одетый, и скатывал скрипучую деревянную штору.

– Это я разбудил тебя? – Он обернулся ко мне. – День сегодня великолепный, и тебе давно пора вставать.

Я спустил ноги с постели и стал одеваться, а дедушка тем временем сообщил мне, что Кейт уже отправилась в школу и Мэрдок тоже ушел – ему ведь надо ехать на поезде в Уинтон: он занимается в колледже Скерри, чтобы потом поступить на государственную службу в почтовое ведомство. Теперь дело только за папой – как только он уйдет на работу, мы можем спуститься вниз. Я был немало удивлен, когда дедушка сообщил мне, что папа хоть и носит такую красивую форму, а работает всего лишь районным санитарным инспектором. Папе очень хочется стать управляющим водопроводным хозяйством, но пока – и тут дедушка еле заметно усмехнулся – ему приходится следить за тем, чтобы помойные ведра и уборные содержались в порядке.

В эту минуту мы услышали, как хлопнула входная дверь и мама позвала нас снизу.

– Ну как вы там ужились вдвоем? – При виде нас на ее озабоченном лице появилась слабая, все понимающая улыбка, точно перед ней были два школьника, от которых только и жди всяких шалостей.

– Отлично, Ханна, спасибо, – вежливо ответил дедушка, усаживаясь в папино кресло с деревянными ручками, стоявшее в конце стола.

Как я вскоре узнал, дедушка только к завтраку выходил из своей комнаты и потому придавал этому ритуалу особое значение. В плите потрескивал огонь, и на кухне было тепло и уютно; возле того места, где сидел Мэрдок, скатерть была вся в пятнах и усеяна крошками. Нам хорошо было втроем; мама взяла жестяную коробку с вангутеновским какао, положила по ложечке в каждую из трех чашек и долила кипятку из большого чайника с черной крышкой.

– Скажите, папа, – начала она, – вы не взяли бы Роберта с собой на утреннюю прогулку?

– Конечно возьму, Ханна. – Дедушка отвечал вежливо, но сдержанно.

– Я знаю, вы всегда стараетесь помочь. – Она говорила так, точно меня тут и не было. – Нелегко это, наверно, будет на первых порах.

– Глупости! – Дедушка обеими руками поднял чашку и поднес ее ко рту. – К чему заранее тревожиться, моя ласточка?

Мама продолжала смотреть на него с грустной, еле уловимой улыбкой; по этой улыбке да по чуть заметному наклону головы я понял, как она его любит. Когда мы заканчивали завтрак, она на минутку вышла и вскоре вернулась с его палкой и шляпой, а также бумагами, которые он переписывал при мне накануне. Она старательно почистила квадратную шляпу, старую и выцветшую, потом затянула потуже тонкую красную тесемку, которой были связаны бумаги.

– Не вам бы заниматься этим, отец. Но вы знаете, какое это для нас подспорье.

Дедушка неопределенно улыбнулся, встал из-за стола и с важным видом надел шляпу. Мама проводила нас до двери. У порога она подошла совсем близко к дедушке и долгим многозначительным взглядом, в котором читалась затаенная тревога, впиалась в его голубые глаза. Затем тихо сказала:

– Обещайте мне, папа.

– Тсс, Ханна! До чего же ты беспокойная женщина! – Он снисходительно улыбнулся ей, взял меня за руку, и мы двинулись в путь.

Вскоре мы добрались до конечной остановки трамвая, где стоял красный вагон – еще совсем диковинка в ту пору; кондуктор переставлял дугу, и, когда она соприкасалась с проводами, в воздухе тучей рассыпались голубые искры. Дедушка провел меня на открытую верхнюю площадку и усадил на переднее место. Я крепче сжал его руку, а он искоса бросил мне ободряющий взгляд; в этот момент мы тронулись и с возрастающей скоростью – так, что воздух засвистел в ушах, – покатались, слегка подпрыгивая, под уклон от Толла к Ливенфорду.

– Билеты, пожалуйста. Прошу всех предъявить билеты.

Я услышал щелканье компостера, которым кондуктор на ходу прокалывал билеты, и позвякивание монет в его сумке, но дедушка продолжал глядеть прямо перед собой, опершись подбородком на рукоятку палки; волосы его разлетались по ветру, и ни мой молящий взгляд, ни требование кондуктора не могли вывести его из этого транса. Всецело занятый своими мыслями, он точно окаменел, так что кондуктор в нерешительности остановился возле нас; тогда дедушка, не меняя позы, всем своим видом изобразил такое возмущение: просто, мол, непонятно, как это старинный приятель может так себя вести, а потом с таким заговорщицким и многообещающим видом подмигнул кондуктору, что тот расплылся в смущенной улыбке.

– Ах, это вы, Дэнди, – сказал он и, помедлив еще немного, прошел наконец мимо нас.

Я был потрясен этим доказательством уважения к моему дедушке. Но тут мы увидели, что прибыли на Главную улицу и находимся как раз напротив муниципалитета. Дедушка с достоинством сошел на нижнюю площадку и, выйдя из трамвая, направился к низкому зданию; несколько ступенек вели к двери с большой медной дощечкой, на которой едва можно было прочесть: «Дункан Мак-Келлар, поверенный». Окна по обе стороны двери были до половины затянуты тонкой белой материей; на одном из них выцветшими золотыми буквами было написано: «Ливенфордское строительное общество», на другом – «Страховая компания Рока». Как только мы подошли к конторе, вся важность дедушки исчезла, он явно присмирел; однако это не помешало ему соорудить забавную гримасу, когда весьма неприглядная женщина, в платье с засаленными манжетами, высунулась из окошечка и сурово заявила нам, что мистер Мак-Келлар занят – у него мэр – и нам придется подождать. Я скоро убедился, что дедушка вообще терпеть не может уродливых женщин – на лице его при виде их неизменно появлялась этакая забавная гримаса.

Минут через пять дверь, ведущая в комнаты, отворилась, и дородный мужчина с темной бородой вышел в приемную, на ходу надевая шляпу. Его внимательный взгляд смутил меня; внезапно, хмуро и неодобрительно взглянув на дедушку, он остановился перед нами.

– Так это и есть тот самый мальчик?

– Да, мэр, – ответил дедушка.

Мэр пристально оглядел меня еще и еще раз, точно знал мою жизнь лучше меня самого; он явно припоминал какие-то события, связанные со мной, и были они такими страшными и возмутительными, что я весь задрожал от стыда и ноги у меня подкосились.

– Ты, конечно, еще не успел завести приятелей среди мальчиков твоего возраста?

Мягкость его тона сразу успокоила меня.

– Нет, сэр.

– Можешь играть с моим сыном Гэвином. Он не намного старше тебя. Приходи к нам как-нибудь на днях. Мы живем совсем рядом – на Драмбакской дороге.

Я опустил голову. Не мог же я сказать ему, что у меня нет ни малейшего желания играть с этим незнакомым мне Гэвином. А мэр с минуту постоял, нерешительно потирая подбородок, потом кивнул еще раз и вышел.

Теперь мистер Мак-Келлар освободился и мог принять нас. Его кабинет был обставлен хотя и старомодно, но красиво – большой стол красного дерева, красный узорчатый ковер, в котором так и утопали ноги, на каминной доске – несколько серебряных чаш, а на стенах мутно-зеленого цвета – фотографии каких-то важных мужчин в рамках. Мистер Мак-Келлар сидел во вращающемся кресле; не глядя на нас, он заговорил:

– Пришлось вам подождать немного, Дэнди. Вы что, принесли работу? Или, может быть, какая-нибудь девчонка подала на вас в суд...

Тут он поднял голову и, заметив меня, умолк с таким видом, точно я испортил лучшую его шутку. Это был плотный краснолицый мужчина лет пятидесяти, гладко выбритый, коротко стриженный, строго одетый. Глаза его под бурными мохнатыми бровями смотрели бесстрастно и пронизательно, и все-таки что-то добродушное было в них. Принимая от дедушки бумаги, он глубокомысленно выпятил пухлую красную нижнюю губу и бегло просмотрел их.

– Ну и пишете же вы, Дэнди, дай бог всем так писать. Настоящая каллиграфия. Вот только почему вы жизнь свою не смогли так ладно построить, как переписали этот документ?

Дедушка несколько принужденно рассмеялся:

– Человек предполагает, а Бог располагает, стряпчий. Я вполне доволен работой, которую вы мне даете.

– В таком случае держитесь подальше от соблазнов Сатаны. – Мистер Мак-Келлар сделал какую-то пометку в лежавшей перед ним книге. – Гонорар за эту работу я припишу к счету за прошлую. Наш друг Лекки, – он оттопырил щеку языком, – получит чек в конце месяца. А у вас, я вижу, новый член семьи.

Он выпрямился и стал меня рассматривать, пожалуй, еще более пронизывающим взглядом, чем мэр. Затем, словно признавая что-то, никак не вяжущееся со здравым смыслом, – более того, всем своим видом как бы говоря, что после той жуткой цепи событий, какая промелькнула перед его мысленным взором, он ожидал увидеть поистине страшное, омерзительное существо, – мистер Мак-Келлар пробормотал: – А он довольно славный малый. Едва ли с ним будет много хлопот – так мне, во всяком случае, кажется.

Вытащив из кармана пригоршню мелких монет, он не торопясь выбрал шиллинг и протянул его через стол дедушке.

– Купите этому внуку Белиала¹ стаканчик лимонада, Дэнди. А теперь идите. Мисс Гленни даст вам новый документ для переписки. Я же чертовски тороплюсь.

Дедушка вышел из конторы в отличнейшем расположении духа, выпатив грудь, точно он с наслаждением вдыхал свежий воздух. Когда мы спускались со ступенек, дедушка обратил мое внимание на двух женщин, шедших по противоположной стороне улицы. Это были бедные труженицы: с корзинами и плетенками своего изделия они обходили дома. Одна из них – та, что помоложе, – рослая, с загорелым лицом и огненно-рыжими волосами, какие можно так часто

¹ *Белал* (Велиал) – в Библии один из падших ангелов.

видеть у бродячих шотландских цыган, несла свою ношу на голове, придерживая ее руками; при ходьбе она слегка покачивалась всем своим сильным телом, а поднятые над головой руки подчеркивали упругость ее груди.

– Посмотри-ка, мальчик! – чуть ли не с благоговейным восторгом воскликнул дедушка. – А ведь приятно увидеть такое, да еще в погожий, свежий осенний денек!

Я лично не видел в этом ничего особенно приятного: подумаешь, две цыганки, укутанные в шали, да и кто на таких внимание обращает! Но я был слишком удручен мрачными намеками, таившимися в словах мэра и юриста, и, чувствуя, как вокруг меня сгущается атмосфера тайны, не стал оспаривать мнение дедушки, а лишь, нахмурившись, последовал за ним. Почему я вызываю такое любопытство у всех этих людей? Что заставляет их покачивать головой при виде меня?

А дело объяснялось очень просто, хотя, конечно, знать я этого не мог. В Ливенфорде – маленьком, пропитанном предрассудками шотландском городке – считалось, что моя мать, которая была очень красивой, пользовалась большим успехом и «могла увлечь кого угодно», опозорила себя, выйдя замуж за моего отца, Оуэна Шеннона, чужеземца, с которым она познакомилась на каникулах, дублинца, человека без всяких родственных связей, занимавшего весьма незначительную должность в фирме, импортирующей чай, человека, у которого не было иных заслуг, кроме ума и красоты, если вообще эти качества можно считать заслугами. То, что за этим браком последовали многие годы безмятежного счастья, не принималось никем в расчет. Смерть отца, за которой вскоре последовала и смерть моей матери, рассматривалась как справедливое возмездие. А мое прибытие к Лекки без всяких средств к существованию – как очевидное доказательство приговора, вынесенного Провидением.

Дедушка избрал для нашего возвращения домой дорогу, пролежавшую мимо городского пруда; не прошло и получаса, как перед нами из-за поворота вынырнула деревушка Драмбак, по окраине которой мы с мамой проходили накануне, и в ту же минуту, отмечая полдень, пронзительно завывла сирена Котельного завода, оставшегося теперь далеко позади.

Живописная деревушка раскинулась у подножия пологого холма, поросшего лесом; ее пересекал ручей, через который было перекинуто два каменных мостика. Мы прошли мимо лавчонки, где торговали сладостями; в окне были выставлены «сюрпризные» мешочки с конфетами, фигурки из марципана, палочки из лакрицы, над входом висела вывеска: «Тибби Минз. Разрешено торговать табаком»; у открытой двери соседнего домика сидел старик и прят шерсть. Через дорогу в кузнице кузнец подковывал белую лошадь; он склонился над зажатым в кожаный передник копытом, позади него в темной глубине ярко пылал горн, из раскрытых дверей вырывался приятный запах паленого рога.

Дедушка, казалось, знал здесь всех, даже уличного торговца, продававшего копченую пикшу с лотка, и женщину, выкрикивавшую: «Ревень, кому желе из ревеня! Два медяка за квартиру!»

Пока мы шли по деревне, дедушка без конца встречал знакомых, с которыми сердечно раскланивался или которые сердечно раскланивались с ним, – я чувствовал, что со мной идет поистине великий человек.

– Как поживаешь, Сэдлер?

– А вы как, Дэнди?

Тучный краснолицый мужчина, стоявший в одной рубашке без пиджака на пороге «Драмбакского герба», так дружелюбно приветствовал дедушку, что тот в предвкушении удовольствия остановился, сдвинул на ухо шляпу и даже вытер сразу вспотевший лоб.

– Мы чуть не забыли про твой лимонад, мальчик.

И он вошел в «Драмбакский герб», а я присел на теплые от солнца каменные ступени у раскрытой боковой двери и стал наблюдать за белыми цыплятами, которые с жадностью и поспешностью непрошенных гостей клевали на пыльном дворе рассыпанное зерно; вокруг сто-

яла сонная тишь, какая наступает в деревнях после полудня; за зеленым стеклом лавчонки со сладостями, что была напротив, я увидел ее владелицу, мисс Минз, которая с любопытством глядела на меня; стекло было неровное, и она казалась мутной изогнутой тенью, точно маленькое морское чудовище, помещенное в аквариум.

Вскоре появился дедушка: он принес мне стакан с лимонадом, от которого у меня зашило язык и приятно зашекотало во рту, вызывая слюну. А сам вернулся в кабачок к дневным завсегдатаям этого прохладного сумеречного уголка, одним глотком опорожнил маленькую пузатую рюмку и принялся напыщенно и высокопарно разглагольствовать, потягивая пиво из большой пенящейся кружки и как бы закрепляя действие выпитой ранее более крепкой золотистой влаги.

Тут внимание мое было отвлечено появлением двух девочек, которые, громко перекликаясь, катили обручи по лужайке напротив гостиницы. Я был совсем один; дедушка, как видно, надолго засел в «Гербе», а потому я встал и не спеша, кружным путем подошел к краю лужайки. Будь это мальчики, я бы и внимания на них не обратил, – у мисс Барти большинство учеников составляли девочки, я привык к ним и не робел в их обществе.

Одна из девочек продолжала яростно погонять свой обруч, а другая, та, что была помладше, решила отдохнуть и присела на скамейку. Эта девочка в клетчатой юбочке на лямках была примерно одних со мною лет; она тихо напевала что-то вполголоса. Чтобы не мешать ей, я тихонько опустил на самый край скамейки и принялся рассматривать царапину у себя на колене. Вот она кончила песенку, и наступило молчание; потом, как я и рассчитывал, она с дружелюбным интересом повернулась ко мне.

– А ты умеешь петь?

Я грустно покачал головой. Ведь я не мог правильно и ноты взять; и знал я всего-навсего одну песню, которой пытался научить меня отец: песню о прекрасной даме, умершей в изгнании. Эта девочка с карими глазками и черными кудрями, которым полукруглая гребенка не давала падать на белый лобик, понравилась мне. И мне очень захотелось продолжить с ней разговор.

– Это колесо у тебя железное?

– Ну конечно. Только почему ты говоришь «колесо»? Мы называем это «обручем», а палочку – «погонялочкой».

Мне стало очень стыдно за свою неосведомленность, которая ясно указывала, что я приезжий, и я посмотрел вдаль на подружку моей соседки, которая катила теперь свой обруч прямо на нас.

– Это твоя сестра?

Она улыбнулась кроткой, доброй улыбкой.

– Луиза – моя кузина, она приехала к нам из Ардфиллана. А меня зовут Алисон Кэйс. Мы живем с мамой вон там. – И она указала на крышу большого дома, видневшуюся среди деревьев в дальнем конце деревни.

Еще больше смутившись от допущенной мною новой ошибки и оттого, что она живет в таком хорошем доме, я встретил подбежавшую к нам Луизу вызывающей улыбкой.

– Хелло! – Луиза, слегка запыхавшись, с большим мастерством остановила прямо подле нас свой обруч и вопросительно посмотрела на меня. – Откуда ты взялся такой?

Ей было лет двенадцать; у нее были длинные льняные волосы, которые она то и дело отбрасывала назад с таким высокомерно важным видом, что мне сразу захотелось чем-то блеснуть перед ней, показать, что и мы с Алисон чего-нибудь стоим.

– Я приехал вчера из Дублина.

– Дублина? Господи боже мой! – И она добавила своим певучим голоском: – Ведь Дублин – это столица Ирландии. – Потом, помолчав немного, спросила: – Ты там и родился?

Я кивнул, с удовольствием подметив, как загорелись ее глаза.

– Ты, значит, ирландец?

– Я и ирландец, и шотландец, – не без хвастовства ответил я.

Но на Луизу это не произвело никакого впечатления, и она со снисходительным видом посмотрела на меня.

– Нет, так не бывает – нельзя быть и тем и другим сразу. Странно все-таки, очень странно. – Тут ей в голову, видимо, пришла какая-то мысль, потому что она вдруг сурово поджала губы и с видом инквизитора подозрительно вскинула на меня глаза. – А в какую церковь ты ходишь?

Я высокомерно усмехнулся: ну и вопрос! «Святого Доминика», – хотел было я ответить, но какой-то блеск, внезапно появившийся в ее загоревшихся глазках, пробудил во мне первобытный инстинкт самозащиты.

– В самую обыкновенную. С таким большим шпилем. Она была рядом с нами в Феникс-Кресцент. – Разговор этот взволновал меня, и, решив положить ему конец, я вскочил и принялся «вертеть колесо» – единственное, в чем я мог показать свою сноровку, – трижды перекувырнувшись через голову.

Когда я выпрямился, весь красный от натуги, я встретил обезоруживающий взгляд Луизы, и она сказала так просто, что лучше бы обругала:

– А я было испугалась, что ты католик. – И улыбнулась.

Покраснев до корней волос, я пролепетал:

– С чего ты это взяла?

– Право, не знаю. Но хорошо, что я ошиблась.

Потрясенный этим признанием, я молча уставился на свои ботинки, но особенно озадачило меня то, что в глазах Алисон я прочел что-то похожее на мое собственное смятение. Все еще улыбаясь, Луиза отбросила назад свои длинные волосы.

– И ты приехал сюда насовсем?

– Да, насовсем. – Я говорил, с трудом разжимая непослушные губы. – Если хочешь знать, я через три недели поступаю в Академическую школу.

– В Академическую?! Да ведь это твоя школа, Алисон! О господи, какое счастье, что я ошиблась и ты не католик. В Академической школе ведь нет ни одного такого. Правда, Алисон?

Алисон утвердительно кивнула, не отрывая глаз от земли. Я почувствовал, что у меня защипало веки, а Луиза, присев, весело рассмеялась.

– Нам пора завтракать. – Она решительно взялась за обруч и сказала, вконец уничтожив меня своим веселым состраданием. – Не горюй! Все будет в порядке, если то, что ты сказал, правда. Пойдем, Алисон.

Сделав несколько шагов, Алисон обернулась и через плечо бросила на меня взгляд, исполненный грустного сочувствия. Но я даже не обрадовался – так я был сражен этой страшной и непредвиденной катастрофой. Терзаясь раскаянием, я оцепенело смотрел вслед их удаляющимся фигуркам и очнулся, лишь услышав голос дедушки, окликнувшего меня с противоположной стороны улицы.

Когда я подошел к нему, он улыбнулся мне широкой улыбкой, глаза его блестели, а шляпа была сдвинута набекрень. Мы зашагали в направлении «Ломонд Вью», и он, одобрительно похлопав меня по спине, заметил:

– Я смотрю, ты преуспеваешь с дамами, Роби. Ты ведь разговаривал сейчас с маленькой Кэйс, не так ли?

– Да, дедушка, – пробормотал я.

– Милые люди. – Дедушка говорил самодовольным и почему-то снисходительным тоном. – Отец ее был капитаном «Равальпинди»... до самой смерти. Мать у нее прекрасная женщина, правда немножко болезненная. Она замечательно играет на рояле... А девочка поет, как жаворонок. Что это с тобой?

– Ничего, дедушка. В самом деле ничего.

Он сокрушенно покачал головой и, к моему величайшему смущению, вдруг принялся насвистывать. Свистел он хорошо, звонко и мелодично, нисколько не тревожась тем, что свист его разносится по всей улице. А когда мы подходили к дому, он принялся напевать себе под нос:

О любовь моя, красная, красная роза
Расцвела пышным цветом в июне².

Он положил в рот дольку чеснока и доверительно шепнул мне:

– Только смотри не рассказывай маме, что мы с тобой выпили немножко. Она ужасная придира.

Глава 4

Мне кажется, в первую пору моего пребывания в этом доме мама прилагала все усилия к тому, чтобы я пореже встречался с остальными членами семейства. Частенько я не видел папу по целым дням: когда он производил «проверку дымоходов» или определял «цельность молока», он не приходил домой завтракать. Его служебное рвение было поистине достойно подражания – даже вечерами он редко отдыхал: садился в кресло, стоявшее в углу, и изучал какой-нибудь отчет о состоянии водопроводного хозяйства или о недоброкачественных продуктах. Он не бывал дома по вечерам только в четверг, когда отправлялся на еженедельные заседания Ливенфордского строительного общества.

Мэрдок большую часть дня проводил в колледже. За ужином он старался как можно дольше задержаться за столом, и, хотя мне иногда казалось, что после еды ему хочется поговорить со мной, он сразу раскладывал по всему столу книги и с мрачной решимостью садился за них.

Кейт приходила с уроков к обеду, но она была очень неразговорчива и по вечерам редко сидела вместе со всеми. Если она не отправлялась в гости к своей подруге Бесси Юинг, то закрывалась у себя в комнате и проверяла тетрадки или читала; уходя, она громко хлопала дверью, а смешные шишки у нее на лбу при этом особенно выпирали, как бы свидетельствуя о душевном смятении.

Неудивительно поэтому, что в ожидании, пока я начну посещать Академическую школу, мы все больше и больше сближались с дедушкой. Если не считать работы по переписке, он почти ничем больше не был занят, и хотя внешне относился ко мне, как к докучной помехе, однако не гнушался проводить время со мной – ведь я питал такое благоговение к его особе. В хорошую погоду после обеда мы обычно отправлялись на Драмбакский луг, где он величественно играл в «марлиз» – фарфоровые шары – со своими двумя приятелями: Сэдлером Боагом, крепышом необычайно вспыльчивого нрава, который вот уже тридцать лет держал в деревне шорную лавку, и Питером Дикки, маленьким, вертлявым, точно воробей, человечком, бывшим почтальоном; в свое время, сказал он мне, он отмерил по улицам и дорогам столько миль, что можно было бы чуть не весь земной шар обойти, а сейчас его больше всего на свете интересует комета Галлея: он очень боится, как бы она не свалилась на Землю. Шары, которыми играл дедушка, были розовые в коричневую шашку. Смотреть, как он бросает их, было просто удовольствие: вот он поднял последний шар на уровень глаз и, слегка усмехнувшись, «разгромил белых», и у мистера Боага, который до смерти не любит проигрывать, «трех шаров как не бывало»!

В иные дни дедушка отправлялся со мной в общественную читальню или поглазеть на то, как трудится ливенфордская пожарная команда – к которой он относился весьма критически, – а однажды, когда мистер Паркин, дававший лодки напрокат, куда-то отлучился, мы устроили чудесную прогулку по городскому пруду.

² Стихи в романе даются в переводе А. Мироновой.

Воскресенье было совсем не похоже на всю остальную неделю, и всегда в этот день у меня почему-то появлялось неприятное щемящее чувство под ложечкой. Мама вставала раньше обычного и, подав папе в постель чашку чаю, ставила жаркое в духовку, а затем вынимала из шкафа папины брюки в полоску и фрак. Через некоторое время дом просыпался и начиналась всеобщая сумятица, сопутствующая одеванию: Кейт в одной нижней юбке бегала вверх и вниз по лестнице, мама старалась натянуть перчатки, севшие после стирки; в последнюю минуту появлялся Мэрдок, лохматый, в рубашке и подтяжках, и, перегнувшись через перила, кричал: «Мама, куда ты положила мои чистые носки?», а папа в тугом крахмальном воротничке, натравившем ему шею, вышагивал с часами в руках по гостиной и все твердил: «Вот сейчас колокола зазвонят».

В этот день я острее, чем когда-либо, понимал, что только мешаю этим славным людям, и не выходил из дедушкиной комнаты, пока далекий колокольный звон не разливался мягкой лаской в утренней тиши, – эти нежные переливы неотступно преследовали меня, усиливая чувство одиночества. Дедушка никогда не ходил в церковь. У него, видимо, не было к этому ни малейшего желания, да и одеться так, как требовали приличия, он не мог. Лишь только семейство отбывало в протестантскую церковь на Ноксхилле, где на богослужении присутствовали мэр и старейшины города, дедушка заговорщически подмигивал мне: давай, мол, «удерем» в гости, а это значило – к его приятельнице миссис Босомли, владелице соседнего дома.

Миссис Босомли, вдова мясника, была когда-то примадонной в странствующей драматической труппе – ее самой выдающейся ролью была Жозефина в «Невесте императора». Сейчас ей было лет под пятьдесят, она располнела, широкое лицо ее с маленькими добрыми глазками, совсем исчезавшими, когда она смеялась, и крошечными красными жилками на щеках обрамляли кудельки каштановых волос, завитых щипцами. Нередко, заглянув через забор, я видел, как она ходит по маленькому садику в сопровождении своей желтой кошки Микадо, потом вдруг станет в позу и начнет декламировать. Однажды я отчетливо слышал, как она говорила: «Грудью защищайте могилы ваших господ! Грудью защищайте родину!»

Но Ливенфорд не был ее родиной; где она родилась и как росла, никто не знал; позднее, когда я уже стал ходить в школу, мальчишки говорили, что она никогда и не была на сцене, а ездила с цирком и что у нее татуировка на животе. Я еще вернусь к разговору о миссис Босомли, а сейчас достаточно будет сказать, что ее гостеприимство являло собой разительный контраст со спартанской экономией, царившей в нашем доме. Мы усаживались в гостиной, миссис Босомли давала мне молоко и сэндвичи, а сама с дедушкой пила кофе; ее обыкновение курить после этого сигарету настолько поразило меня – я впервые видел, чтобы дама курила, – что я по сей день помню название марки на плоском зеленом пакете: «Дикая герань».

В воскресенье после обеда, когда папа, не снимая воротничка и не развязывая галстука, укладывался вздремнуть на диване в прохладе гостиной, а Мэрдок и Кейт отправлялись преподавать в воскресную школу, дедушка снова подавал мне знак, и мы отбывали в деревню, погруженную в сонное оцепенение, какое наступает после обильной еды. Свернув на дорожку, начинавшуюся за городским садом, дедушка с самым независимым и деловым видом останавливался возле изгороди из боярышника, окружавшей огород и питомник Далримпла.

И какой же это был чудесный огород; над воротами висела потрескавшаяся от солнца вывеска: «Далримпл. Питомник», – а за ними виднелись грядки простой и цветной капусты и моркови, во фруктовом саду на деревьях еще полно было яблок и груш. Дедушка, обозрев сначала пустынную дорожку, осторожно заглядывал через изгородь и даже прищелкивал языком от огорчения:

– Вот обида! Старичка опять нет на месте. – Дедушка поворачивался, снимал шляпу и с милейшей улыбкой вручал ее мне. – А ну-ка, махни через изгородь, Роберт, к чему идти до калитки. И набери медовых груш, это самые лучшие. Да смотри пригни голову.

Следуя его указаниям, отданным шепотом, я пролезал сквозь изгородь и наполнял шляпу спелыми желтыми грушами, а дедушка стоял на дорожке, тщательно озирая окрестность и что-то напевая себе под нос.

Через некоторое время я возвращался, и мы принимались есть груши; они были такие спелые, что сок тек по подбородку, а дедушка глубокомысленно изрекал:

– Милый старикан этот Далримпл. Он меня так любит, что готов отдать мне свой последний крыжовник.

Хоть я и не был разговорчивым ребенком, не скрою: общение с дедушкой было для меня пусть кратковременным, но все же большим утешением. К несчастью, одно неприятное обстоятельство портило удовольствие от наших вылазок, оно огорчало и удивляло меня. Дедушку, которого всюду сердечно приветствовали, радуясь его приходу, определенная часть молодого поколения почему-то встречала и провожала смехом и неопикуемыми издевками.

Наши мучители были не из числа учеников Академической школы – одного из них, сына мэра Гэвина Блейра, дедушка как-то раз показал мне, когда тот шел по другой стороне улицы, и я тогда отчаянно покраснел, – нет, нас донимали деревенские мальчишки, собиравшиеся у моста ловить шапками мелкую рыбешку. Когда мы проходили мимо, они таращили на нас глаза и начинали глумиться:

Эй, Гау-попрошайка! Поскорее отвечай-ка На вопрос: «Где достал ты страшный нос?»

Я белел от стыда, а дедушка, не обращая внимания на ужасную песенку, горделиво шествовал дальше, высоко подняв голову. Сначала я делал вид, будто ничего не слышал. Но под конец любопытство взяло верх, и я, преодолев огорчение, открыто посмотрел на дедушку:

– А правда, почему у тебя такой нос, дедушка?

Молчание. Дедушка холодно, с большим достоинством искоса взглянул на меня.

– Он у меня стал таким после войны с зулусами, мой мальчик.

– Ох, дедушка! – Весь мой стыд тотчас растворился в потоке гордости и возмущения против этих невежественных мальчишек. – Расскажи мне об этом, дедушка, ну пожалуйста.

Он настороженно посмотрел на меня. Ему не очень хотелось рассказывать, но мое желание послушать, видимо, показалось ему лестным.

– Видишь ли, дружок, – начал он, – я ведь не люблю хвастаться...

И вот я, словно зачарованный, семеню с ним рядом, а передо мной возникает огромный военный корабль – он скользит по водной глади и выходит в открытое море, а вслед ему несутся стенания прелестных женщин; вот он незаметно пристал к пустынному берегу и с него сошел отряд шотландских Белых конников под предводительством полковника Дугала Макдугала – все чистокровные аристократы. Дедушка быстро получил повышение: после смелой вылазки в крепость Матабеле он стал правой рукой полковника и был назначен связным, доставлявшим депешу из осажденного гарнизона, – это когда отряд Белых конников был окружен и отрезан. Затаив дыхание, слушал я рассказ дедушки о том, как он под покровом ночи, держа по револьверу в каждой руке и зажав в зубах нож, полз по каменистому вельду. Он уже почти миновал позиции неприятеля, когда луна – ох эта предательница луна! – вдруг выплыла из-за туч. Не успел он оглянуться, как стая дикарей набросилась на него. Пим! Пам! Пим! В дымящихся револьверах не осталось ни одного заряда. Тогда, вскочив на большой камень, он стал наотмашь сплеча разить врага ножом. Вокруг, извиваясь, валялись чернокожие. Тут он мелодично свистнул, и из тьмы вылетел его любимец – белый конь. Ох, сколько же ему пришлось вынести за этот полный томительной неизвестности ночной переезд. Следом гнались быстроногие зулусы. В воздухе темно было от их дротиков. Свишь! Свишь! Наконец, истекая кровью и почти теряя сознание, ухватившись за гриву лошади, чтобы не упасть, он добрался до своих. Флаг был спасен.

Я перевел дух. От волнения и восторга глаза у меня горели.

– И вы были серьезно ранены, дедушка?

– Да, мой мальчик, боюсь, что да.

– Это тогда вы... у вас стал такой нос, дедушка?

Он торжественно кивнул и с нежностью погладил эту достопримечательность своего лица.

– Да, мой мальчик... это дротиком... отравленным... ударом наотмашь. – И, надвинув шляпу на глаза, чтобы защитить их от солнца, мечтательно добавил: – Сама королева выразила мне по этому поводу сожаление, когда награждала меня в Бальморале.

Я смотрел на него совсем иными глазами, чем прежде: с новым чувством благоговения и нежности. Какой удивительный герой наш дедушка! И по пути назад, из «Драмбакского герба» в «Ломонд Вью», я крепко держал его за руку.

Когда мы вошли в дом, мама стояла в прихожей, держа в руках почтовую открытку, которую только что принесли с сегодняшней дневной почтой, а было это первого октября.

– Завтра бабушка возвращается. – И она повернулась ко мне. – Ей очень хочется поскорее увидеть тебя, Роберт.

Дедушка как-то странно отнесся к этому известию. Он ничего не сказал, но состроил маме такую гримасу, точно съел что-то кислое, и стал подниматься к себе.

Мама запрокинула голову и крикнула ему вслед, словно желая его утешить:

– Подать вам к чаю яичко, папа?

– Нет, Ханна, не надо, – понуро молвил бесстрашный воин, сражавшийся с зулусами. – Теперь мне кусок в горло не пойдет.

И он продолжал восхождение. Я слышал, как печально звякнули пружины, когда он с размаху бросился в свое кресло.

Как бы ни относился к предстоящему событию дедушка, я лично ждал его с нетерпением. На следующий день – это была суббота – исполненный драматизма звук подъезжающего кеба заставил меня опрометью броситься к окну.

Волнуясь, я наблюдал, как бабушка, нагнув голову и бережно прижимая одной рукой сумочку к расшитому черным стеклярусом плащу с капюшоном, а другой приподняв юбку так, что видны были ботинки со вставленными сбоку резинками, осторожно вылезала из кеба. Возница, видимо, был чем-то недоволен. Когда бабушка расплатилась с ним, он воздел руки к небу, но потом, как бы признав свое поражение, все-таки согласился внести в дом ее саквояжи. Дедушка, не сказав никому ни слова, неожиданно отправился на прогулку, зато Кейт и Мэрдок почтительно вышли навстречу бабушке. Из передней донесся голос мамы:

– Роби! Куда это ты запропастился? Поди сюда, помоги твоей прабабушке донести вещи.

Я примчался и среди всеобщей сумятицы принялся перетаскивать пакеты полегче на второй этаж, не без робости, но и не без интереса поглядывая при этом на бабушку. Она была крупная – крупнее дедушки, с плоскими ступнями, с узким суровым морщинистым лицом, желтизну которого приятно подчеркивала белоснежная оборка, окаймлявшая ее черный чепец. Волосы бабушки, все еще темные, разделял посередине прямой пробор, а в уголке большого сморщенного рта, возле верхней губы, притаилась коричневая родинка, из которой торчал кустик волос. Она рассказывала маме о том, как доехала, обнажая при этом крепкие пожелтевшие зубы, с которыми не без труда справлялась, ибо они то и дело щелкали.

Таинственная дверь наверху была распахнута, и, пока бабушка пила внизу чай, я уселся на один из саквояжей возле порога ее комнаты, решив удовлетворить свое долго сдерживаемое любопытство. Комната была чистенькая, тщательно прибранная, в ней пахло камфарой и воском; два коврика, казавшиеся двумя овальными островками, висели на крашеных дощатых стенах по обе стороны массивной кровати из красного дерева с резными ножками и толстым красным пуховым одеялом. Под кроватью застенчиво поблескивал ночной горшок. В углу стояла швейная машина, у окна – гостеприимная качалка с обитой плюшем спинкой, прикрытой вышитой салфеточкой. На стенах висели три цветные литографии – роскошные и устрашаю-

щие: «Самсон разрушает храм», «Евреи переходят Красное море», «Страшный суд». А возле двери, так что я мог прочесть, в мрачной рамке черного дерева, напоминавшей могильный камень, висело стихотворение, обведенное черной каймой, под названием «Благой день»; в нем воздавалась хвала Аврааму за то, что он принял Сэмюэла Лекки в свое лоно, хоть и причинил этой утратой тяжкое горе его возлюбленной супруге.

На лестнице слышались медленные, но тяжелые шаги бабушки – ступеньки так и скрипели у нее под ногами; я же точно загипнотизированный не мог сдвинуться с места – вот так же маленькие рыбки, подчиняясь скорее инстинкту, чем желанию, покорно следуют за владыками морских глубин. Бабушка внимательно оглядела свою комнату, проверяя, не переставлено ли что-нибудь, на какой-то дюйм передвинула стулья, попробовала ногой педаль швейной машины, и все время ее ясные проницательные глаза изучали меня.

Наконец она покачала головой, как бы показывая, что не вполне довольна осмотром, раскрыла свой кожаный саквояж, вынула футляр с очками, Библию и несколько бутылочек с лекарствами и с величайшей тщательностью разложила все это на маленьком столике возле кровати, покрытом кружевной салфеточкой. Затем она обернулась ко мне и, произнося слова на деревенский лад, спросила:

– Ты хорошо себя вел, пока меня не было?

– Да, бабушка.

– Рада это слышать, мой милый. – В ее бесстрастном тоне слышались теплые нотки. – Ну а теперь помоги-ка мне распаковаться. Ни на один день нельзя уехать: непременно кто-нибудь нахозяйничает и переставит все.

Я помог ей распаковать багаж, а она принялась убирать в комод с глубокими ящиками тщательно сложенные и наглаженные вещи. Затем она дала мне кусок фланели и, заметив, что чистота – залог благочестия, велела протереть медную решетку камина, а сама вынула из того же комода метелочку из перьев и стала обметать стоявших на камине фарфоровых собачек.

Довольная моим прилежанием, бабушка еще поубавила строгости и с сочувствием многозначительно посмотрела на меня.

– А ты все-таки славный мальчик. И бабушка сейчас даст тебе что-то вкусенькое.

Она извлекла из верхнего левого ящика комода пригоршню жестких мятных лепешек, известных под названием «имперские», взяла себе штуку, а остальные сунула мне.

– Ты только не грызи их, а соси, – посоветовала она. – Так дольше хватит. – И она покровительственно погладила меня по голове. – Ты теперь будешь бабушкин сынок. И все время, мой ягненок, будешь с бабушкой. Мы с тобой станем в гости ходить – чай пить.

И, верная своему обещанию, бабушка большую часть дня проводила со мной; нередко мы с ней беседовали, и она даже рассказывала кое-что о себе. Была она крепкой крестьянской породы; племянник, у которого она раньше жила, имел ферму в Эршире и занимался разведением картофеля. Муж бабушки работал старшим табельщиком на ливенфордском Котельном заводе; это был «святой человек», который помог ей приобщиться к Господней благодати. Однажды (этот день она никогда не забудет!) он проходил по двору завода и сверху, с подвесного крана, на него упала стальная болванка весом в целую тонну. Бедный Сэмюэл! Он, конечно, отправился прямо к престолу Господню, а братья Маршалл, надо сказать, поступили весьма благородно: бабушка теперь каждый квартал получает от завода пожизненную пенсию. Так что она, слава богу, ни от кого не зависит и может прилично платить за свой стол и кров.

В четыре часа дня бабушка велела мне вымыть лицо и руки. А через полчаса мы с ней отправились в деревню Драмбак.

К этому времени я уже успел проникнуться суровой религиозностью бабушки и, желая заслужить ее одобрение, стал серьезным, старомодным – даже в подражание ей чопорно кивал. Преисполненный благого сознания собственной значимости, я шагал рядом с бабушкой, облаченной во все свои «доспехи»: несмотря на теплую погоду, на ней было длинное парадное

платье, в котором она прибыла из своих странствий, а в руке, точно скипетр, она несла длинный, туго скатанный зонтик с ручкой, инкрустированной золотом и перламутром. Да, ей вслед никто уж не осмелится кричать всякие глупости.

– Помни, душенька, – предупредила она меня, когда мы подошли к маленькой лавчонке со сладостями, приютившейся между колодой для лошадей и кузницей, – води себя как следует. Мисс Минз – моя лучшая подруга, мы с ней вместе ходим молиться. Не сопи, когда будешь пить чай, и говори, только если тебя спросят.

Еще совсем недавно я точно зачарованный стоял у низенькой витрины мисс Минз, прижавшись лицом к зеленоватым стеклам, и понятия не имел о том, что так скоро удостоюсь чести быть ее гостем. Дверь со звоном растворилась от толчка бабушкиной руки, и я вступил вслед за ней в чудесный сумрак маленького погребка, где пахло мятными лепешками, анисовыми подушечками, душистым мылом и сальными свечами. Мисс Минз, маленькая сгорбленная старушка в черном бумазейном платье и в очках со стальной оправой, поднятых на лоб, сидела за конторкой и вязала; наш приход был для нее такой неожиданностью, что она испуганно и в то же время радостно вскрикнула:

– Господи боже мой, да никак вы вернулись!

– Ну конечно, конечно, Тибби, это я собственной персоной.

В восторге оттого, что она устроила своей приятельнице такой сюрприз, бабушка с неожиданной игривостью расцеловала мисс Минз, не переставшую что-то радостно щебетать.

Затем мисс Минз, страдавшая от ревматизма, прихрамывая, провела нас в комнатку за лавкой; на круглом столе мигом появились чашки и блюда, а на огне закипел чайник, однако все эти хозяйственные хлопоты не мешали мисс Минз внимательно слушать рассказ бабушки о том, как она гостила в Килмарноке, причем главное место в этом рассказе было отведено посещению церквей.

– Да, милая моя, – желая польстить бабушке, смиренно вздохнула по окончании рассказа мисс Минз. – Вы с пользой провели время. Мне бы тоже очень хотелось послушать мистера Далгетти. Но конечно, лучше, что слушали его вы.

И, разливая чай, она стала рассказывать бабушке о том, что произошло в ее отсутствие: обо всех рождениях и похоронах, а также, хоть я в ту пору не понимал этого, обо всех беременностях. Но вот обсуждение мирских сует закончено, воцарилось многозначительное молчание: подруги посмотрели на меня с видом двух лакомок, которые, отведав деликатесов и разжегши аппетит, готовы приняться за самые основательные блюда.

– А он славный мальчик, – чистосердечно заметила мисс Минз. – Возьми еще кусочек пирога, молодой человек. Это полезно.

Мне, конечно, было чрезвычайно приятно такое внимание. Мисс Минз уже дала мне в полное пользование тарелку с эбернетским печеньем и положила на стул подушку, чтобы я мог достать до стола. Затем, заметив, что я не пью чай, она принесла из лавки бутылку чудесной золотистой газированной воды под названием «Богатырский пунш» – на этикетке был изображен силач в леопардовой шкуре, поднимающий тяжеленные гири.

– Ну а теперь, мой хороший, – ласково сказала она, – расскажи нам с бабушкой, как ты тут жил. Ты много бывал с дедушкой?

– О да, конечно. Почти все время.

Женщины обменялись многозначительным скорбным взглядом, и бабушка тоном, каким говорят, желая скрыть дурные предчувствия, спросила:

– И чем же вы все это время занимались?

– О, уймой всяких вещей, – важно изрек я и потянулся еще за печеньем, хотя меня никто не угощал. – Играли в шары с мистером Боагом. Охотились на зулусов. Ходили в питомник мистера Далримпла за грушами... Дедушка, конечно, договорился с ним, что я буду лазать

через изгородь. – Польщенный их вниманием, я сполна воздал должное дедушке: не забыл и про наше посещение «Драмбакского герба» и даже рассказал про двух цыганок, которых мы с дедушкой видели на Главной улице и которые так понравились ему.

Я умолк, а бабушка с искренним состраданием продолжала смотреть на меня. Затем чрезвычайно осторожно, но настойчиво, как бы решив узнать все – пусть даже самое худшее, – она стала расспрашивать меня о поре более отдаленной, о том, как я жил в Дублине. Подвела она меня к этому так незаметно, что, не успев опомниться, я уже давал ей полный отчет о моих детских годах.

Когда я кончил, обе женщины почему-то молча переглянулись.

– Итак, – приглушенным голосом изрекла наконец мисс Минз, – теперь вам все известно, душенька.

Бабушка торжественно наклонила голову и взглянула на меня.

– Роберт, миленький, пойдди поиграй минутку на улице. Нам с мисс Минз надо кое о чем потолковать.

Я попрощался с мисс Минз и стал ждать бабушку возле колоды для лошадей; по мере того как шло время, мне становилось все больше не по себе. Но вот наконец появилась и бабушка. Всю дорогу она молчала, и хотя в том, как она вела меня за руку, чувствовалась жалость ко мне, эта жалость шла от рассудка. Она сразу провела меня к себе и, сняв плащ с капюшоном, закрыла дверь.

– Роберт, – сказала она, – давай вместе прочтем молитву, хорошо?

– Конечно, бабушка, – волнуясь, с жаром заверил я.

И хотя сердце ее обливалось кровью, она взяла меня за руку и заставила встать на колени, потом сама тяжело опустилась рядом со мной. В комнате темнело. С горячей и искренней верой молилась она о моем благополучии. От страха и волнения физиономия у меня вытянулась, но эта горячая молитва обо мне не могла меня не тронуть, и глаза мои наполнились слезами, когда бабушка, испросив прощения для грешника и долготерпения для себя самой, нежно поручила меня заботам небесных сил. Помолившись, она, весело улыбаясь, встала с колен, закрыла ставни и зажгла газ.

– Этот костюмчик, который на тебе, Роберт... просто позор. И что подумают о тебе в этой твоей Академической школе! – Она подозвала меня к себе и пощупала износившуюся реденькую материю. – Завтра же стаचाю тебе что-нибудь на машинке. Достань-ка мне сантиметр из комода.

Я стоял не шевелясь, пока бабушка обмеряла меня со всех сторон и, слюнявя кончик карандаша, записывала цифры на выкройке из оберточной бумаги, которую она вынула из журнала «Уэлдонский домашний портной». Затем она открыла шкаф и, размышляя вслух, заметила:

– Где-то у меня тут должна быть саржевая нижняя юбка – еще совсем хорошая. Как раз то, что надо!

В самый разгар поисков в дверь постучали.

– Роби, – донесся снаружи голос дедушки. – Пора спать.

Бабушка повернулась в сторону двери.

– Я сама уложу Роберта.

– Но он спит со мной.

– Нет, он будет спать со мной.

Последовало молчание. Затем из-за двери опять донесся голос дедушки:

– Его ночная рубашка у меня в комнате.

– Я дам ему ночную рубашку.

Опять молчание, молчание побежденного, и через секунду я услышал шаркающие шаги – дедушка отступил. Тут я уж вконец переполошился, и, должно быть, это отразилось на моем побледневшем лице, так как бабушка стала еще заботливее и елейнее.

Она раздела меня, налила из кувшина воды в таз и заставила меня вымыться; потом закутала в длинный фланелевый лиф и помогла взобраться на высокую постель. А сама присела рядом и принялась гладить меня по голове, точно собираясь с силами, прежде чем приступить к неприятной обязанности.

– Бедный мой мальчик, – с искренней жалостью вздохнула она. – Приготовься выслушать то, что я тебе скажу. Твой дедушка никогда не воевал. Он ни разу в жизни не выезжал дальше чем за пятьдесят миль от графства Уинтон.

Что это она говорит? Я вытаращил глаза от удивления – нет, быть не может!

– Не в моем характере говорить о ком-нибудь плохо, – продолжала она. – Но тут уж моя святая обязанность позаботиться о твоём будущем... – И пошла, и пошла, и хотя я из чувства внутреннего протеста старался не слушать ее, отдельные слова все-таки доходили до моего сознания:

– ...За что бы он ни брался, все кончалось провалом... отовсюду его выгоняли... был акцизным чиновником на складе при таможне... многие годы еле сводил концы с концами... это-то и доконало его несчастную жену... А потом, ведь он еще и пьяница... по лицу видно... нос-то какой... А с кем он водит компанию... с Боагом, который уже трижды разорился, а Дикки – тот того и гляди угодит в богадельню для бедняков... И ни гроша за душой... если бы не щедрость моего сына...

– Нет, нет! – закричал я, зажимая уши руками и зарываясь головой в подушку.

– Ты должен об этом знать, Роберт. – Она поправила одеяло. – Он неподходящая компания для мальчика твоего возраста. Да не плачь же, мой ягненок. Я буду заботиться о тебе.

Терпеливо дождавшись, пока я успокоюсь, она поднялась, заметив, что тоже устала.

– Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум наживет, – изрекла она и принялась раздеваться.

Процедура эта так заинтересовала меня, что, несмотря на все свои горести, я стал наблюдать за бабушкой. Прежде всего она сняла свой черный чепец – маленький черный чепчик, красовавшийся на ее зачесанных кверху еще каштановых волосах. Затем бабушка сняла плоские золотые часики, приколотые к лифу, старательно завела их и повесила на крючок над каминной доской. После чего настала очередь белой шали, которой бабушка для тепла прикрывала плечи. Маленькая заминка – пока расстегивается узкий черный лиф с длинными рукавами, но вот и он снят и уложен на качалку. За ним следуют лифчики из белой материи с длинными завязками – штуки четыре, если не больше, – и наконец бабушка предстает передо мной упакованная в черный корсет, опоясывавший ее всю вплоть до темных углублений под мышками.

На этом раздевание было прервано; быстрым движением левой руки, совсем как волшебник, бабушка вынула зубы, и щеки ее как-то сразу провалились, а суровое лицо приняло выражение приятной мягкости. Но как только зубы были положены в стакан с водой, стоящий у изголовья, бабушка поспешно надела белый ночной чепец и крепко завязала ленты под подбородком, отчего лицо ее сразу стало суровым, как всегда.

Затем она продолжала раздеваться: вот упала юбка, и бабушка переступила через нее, так же переступила она и через несколько нижних юбок. В те далекие годы меня чрезвычайно занимал вопрос о том, сколько нижних юбок у бабушки: во-первых, юбка из черного альпага, за нею три белые бумажные юбки, потом две кремовые фланелевые... но мне так и не удалось проникнуть до конца в эту неуловимую тайну, ибо тут обычно бабушка сурово, но не без хитринки взглядывала на меня и говорила:

– Роберт! Повернись к стенке.

Я повиновался; после этого я слышал, как бабушка еще перешагивала через что-то, потом раздавался треск корсетных костей, еще какие-то звуки, потом бабушка прикручивала газ и ложилась рядом со мной. Спала она тихо, покойно, только вот ноги у нее – а она сразу придвигала их к моим – были уж очень холодные. Я лежал на боку и со страхом взирал на двойной ряд оскаленных зубов, поблескивавших в темноте на ночном столике, – это были массивные зеленоватые зубы, изготовленные по старинке, но необычайно крепкие и вделанные в мощную пластинку. У дедушки не было таких зубов, но мне так хотелось – да, несмотря на то что он плохой, вдруг от всего сердца захотелось – снова быть с ним.

Глава 5

Старинное серое каменное здание Академической школы с часами на высокой квадратной башне, со стертыми каменными ступенями, длинными сырыми коридорами и душными классами, где пахло мелом, детьми и осветительным газом, свыше ста лет стояло на Главной улице, куда выходила глубокая темная арка, казавшаяся моему разгоряченному воображению похожей на провал в горе близ Гамельна, когда она разверзлась от звуков волшебной флейты³.

В то утро, когда я должен был ступить под своды этой арки, я проснулся возбужденный и взволнованный, и бабушка, сообщив мне, что мой костюм готов, с довольным видом подвела меня к подоконнику, где он был разложен на папиросной бумаге, дабы сразу поразить мое воображение.

Вид моего нового одеяния, которого я с таким нетерпением ждал, настолько изумил меня, что я не мог слова вымолвить. Костюм был зеленый – не мягкого темно-зеленого тона, а веселого, ярко-оливкового. Правда, я видел эту материю, когда бабушка строчила ее на машинке, но по наивности решил, что это подкладка.

– Ну надевай же его скорей, – с гордостью сказала бабушка.

Костюм был мне велик: я потонул в курточке, а широкие штаны висели так, точно я надел длинные брюки и мне обрезали их ниже колен.

– Прекрасно, прекрасно, – приговаривала бабушка, поглаживая и одергивая на мне костюм. – Не узок и не короток. Я шила его на вырост.

– Но цвет, бабушка! – слабо запротестовал я.

– Цвет?! – Она вытянула белую наметку и продолжала говорить, не разжимая губ, в которых держала булавки. – А чем плох цвет? Материя замечательная – сразу видно. Ведь ей износу не будет.

Я побелел. Приглядевшись повнимательнее к рукаву, я только сейчас заметил на материале легкую полоску из маленьких выпуклых завитков: о боже, розочки – они были бы очень красивы на бабушкиной нижней юбке, но едва ли подходят мне.

– Разрешите мне сегодня надеть старый костюм, бабушка.

– Вот еще чепуха какая! Да я вчера разрезала его на тряпки.

Бабушка так превозносила свое творение, что я почти успокоился. Однако не успел я выйти из ее комнаты, как Мэрдок сразил меня наповал. Повстречав меня на лестнице, он с наигранным ужасом прикрыл глаза рукой и застыл на месте, а потом откинулся на перила и ну хохотать.

– Наконец-то! Наконец-то она себя показала!

Несколько странное молчание, каким встретила мое появление на кухне мама, равно как и подчеркнутая заботливость, с какой она протянула мне тарелку, полную каши, отнюдь не могли способствовать моему успокоению.

³ Аллюзия на эпизод из народной сказки о гамельнском крысолове, который звуками волшебной флейты спас город от нашествия крыс.

Сам не свой вышел я на улицу, где серело холодное утро, с таким чувством, что на всем окружающем меня бесцветном зимнем шотландском пейзаже единственное яркое весеннее пятнышко – это я. Люди оборачивались и смотрели мне вслед. Врожденная робость и стыд побудили меня держаться подальше от Главной улицы, и я избрал дорогу через городской сад – более спокойную, но и более длинную, так что я опоздал в школу.

Поплутав по коридорам, я не без труда нашел наконец второй класс, куда я был зачислен по рекомендации Кейт. Когда я вошел, стеклянная перегородка, разделявшая комнату, была раздвинута, и я предстал сразу перед двумя классами; мистер Далглейш, восседавший на кафедре, уже закончил первый урок. Я хотел незаметно проскользнуть на свободное место, но не успел дойти и до середины класса, как учитель остановил меня. Он не был прирожденным тираном, как я это установил впоследствии, – даже бывал иногда на редкость приветлив и ода-рял нас сокровищами интереснейших познаний, но порой на него находили приступы мрачной ярости, когда в него словно вселялся злой дух. Вот и сейчас я с ужасом заметил – по тому, как он покусывал кончик своего уса, – что настроен он далеко не благоприятно. Я ожидал, что он сделает мне выговор за опоздание. Но он и не подумал на меня кричать. Вместо этого он спустился с кафедры и, слегка склонив голову набок, неторопливо обошел вокруг меня. Класс замер от испуга и волнения.

– Так! – произнес он наконец. – Мы, значит, и есть новый ученик. И у нас, как видно, новый костюм. Нет, век чудес еще не кончился.

Вокруг захихикали, предвкушая интересное развитие событий. Я молчал.

– Да ну же, сэр, не дуйтесь на нас, пожалуйста. Где это вы купили такое чудо? У Миллера на Главной улице или в Кооперативном магазине?

Побелевшими губами я прошептал:

– Мне его моя прабабушка сшила, сэр.

По классу прокатился громовой хохот. Мистер Далглейш без малейшей улыбки в холодных, с красными прожилками глазах продолжал расхаживать вокруг меня.

– Замечательный цвет. И самый подходящий. Насколько мы понимаем, вы из ирландцев?

Класс снова захохотал. Во всем этом полукружье смеющихся лиц – от смущения и робости мне казалось, что их несметное множество, хотя я отчетливо видел каждое в отдельности – не смеялись лишь двое. Гэвин Блейр, сидевший на первой парте и с холодным презрением смотревший на учителя, и Алисон Кэйс, которая не отрываясь, взволнованно глядела на меня поверх учебника своими карими глазами.

– Отвечайте на мой вопрос, сэр! Вы принадлежите к числу последователей святого Патрика – да или нет?

– Я не знаю.

– Он не знает! – Произнесено это было с нарочитой медлительностью и наигранным удивлением; ученики катались по партам от хохота. – Он явился к нам в гирлянде из трилистника, живое олицетворение душещипательной баллады «В венке из зелени», и ему, видите ли, стыдно признаться, что на его челе еще не высохли следы святой воды...

И он продолжал в том же духе, потом вдруг повернулся и, ледяным взглядом утихомирив развеселившихся учеников, обратился ко мне своим обычным тоном:

– Тебе, возможно, интересно будет услышать, что я учил твою мать. А сейчас вот смотрю на тебя, и похоже, что я даром потратил тогда время. Садись сюда.

Дрожащий, вконец оробевший, я, спотыкаясь, прошел к своему месту.

Я надеялся, что на этом и кончатся мои страдания. Увы, это было только начало. В пере-рыве меня окружила глумящаяся насмешливая толпа. Меня и так уже выделили из общей массы учеников, а теперь я и вовсе доказал, что я в самом деле выродок.

Злейшими моими мучителями оказались Берти Джемисон и Хэмиш Боаг.

– Эй, ирлашка – зеленая рубашка! А голубые все равно главней!⁴ – издевались они надо мной, следуя тону, заданному мистером Далглейшем, только гораздо резче. Какую, оказывается, расовую и религиозную ненависть могла вызвать к жизни злосчастная нижняя юбка старой женщины. Когда настал час завтрака, я заперся в уборной; на коленях у меня в бумажке лежал кусок хлеба, намазанный вареньем из ревеня, но я не притрагивался к нему. Вскоре меня, однако, обнаружили и вытащили на улицу.

В тот день у нас были занятия по гимнастике, которые проводил в школьном зале привратник, бывший сержант из добровольцев. Не успел я, по примеру остальных, снять с себя курточку, как Берти Джемисон и Хэмиш Боаг с угрожающим видом подошли ко мне. Берти был грубый мальчишка с шишковатым лбом; он вечно куролесил и дрался с девочками. Он сказал:

– Мы тебе еще зададим.

– Но за что? – заикаясь, спросил я.

– За то, что ты грязный папист.

Весь последующий час, дрожа от страха перед грядущим, я делал упражнения на «поднимание рук» и «сгибание колен». Как только урок кончился и привратник ушел, меня окружили и вытолкали в раздевалку. Там уже собрались почти все старшие мальчики; пинками и ударами меня загнали в угол, а Джемисон схватил мою руку и стал заламывать ее мне за спину. Я попытался вырваться, но поскользнулся и упал. В одно мгновение Хэмиш Боаг завладел моими ногами, а Джемисон уселся мне на грудь и принялся колотить меня головой об пол.

– Дай ему как следует, Берти! – закричало несколько голосов. – Вытряси из него душу.

Тут Джемисону пришла в голову новая мысль. Он выпустил меня из рук и оглядел стоявших вокруг мальчишек.

– У кого-нибудь есть нож? Давайте-ка посмотрим, такой ли он зеленый внутри, как снаружи?

– Не надо, Берти, не надо! – взмолился я. Сердце у меня так колотилось от испуга, что я едва это выговорил. Тут зазвонил колокол, и мои мучители вынуждены были отступить. Когда я добрался до коридора, где мы строились, чтобы войти в класс, мой растерзанный вид и пыльная одежда привлекли внимание мистера Далглейша, который стоял у колокола, все еще держась за веревку.

– Что это значит? – спросил он.

За меня ответил хор льстивых голосов:

– Ничего, сэр.

Затем маленький Хови, шустрый, как белка, крикнул откуда-то сзади:

– Мы просто отдали дань восхищения новому зеленому костюму Шеннона, сэр!

Мистер Далглейш кисло усмехнулся.

Всю эту неделю на меня сыпались беды. Всяким издевательствам не было конца. Напротив церкви Святых ангелов, находившейся рядом со школой, после занятий обычно собиралась разбойничья банда. Никогда прежде я не входил под своды этого храма, а теперь меня грубо вталкивали туда и заставляли молиться об отпущении грехов, выуживать монеты из кружки для бедных, целовать большой палец на ноге Христа и прочие части Его тела. Мои мучители были безжалостны, и, если, доведенный до отчаяния, я пытался противостоять им, они неизменно брали надо мной верх, хотя бы уже потому, что их всегда была целая орава.

Чтобы избежать встреч с ними, я все время был начеку, готовый в любую минуту пуститься наутек, ходил кружным путем, где было меньше народу; чаще всего я выбирал дорогу через городской сад, а затем мимо Котельного завода, но даже и здесь не был в безопасности: на плечах моих ведь по-прежнему был этот ужасный костюм, и молодые инженеры и слесари с завода частенько кричали мне вслед: «Эй! Зеленые Штаны! А мать твоя знает, что ты раз-

⁴ Зеленый цвет – национальный цвет Ирландии, голубой – приверженцев Англии.

гуливаешь по улице?» Шутки их были добродушными, но я был слишком запуган и уже не мог отличить юмора от оскорбления. Все глубже и глубже погружался я в бездну отчаяния: домашнюю работу выполнял из рук вон плохо, в классе все заливал чернилами и вообще вел себя как слабоумный ребенок. Как-то раз мистер Далглейш велел мне встать и прочесть стихи, которые нам задали выучить наизусть; я так долго молчал, что он крикнул:

– Да чего же ты ждешь?

И я ответил рассеянно, с отсутствующим видом:

– Моего зеленого костюма, сэр.

Гробовое молчание. Потом – взрыв хохота.

Больше терпеть я не мог. В тот вечер я бросился в комнату к дедушке. И как только спертый воздух, такой знакомый и родной, ударил мне в лицо, из глаз моих брызнули слезы. С тех пор как бабушка занялась моим воспитанием, мы с дедушкой стали совсем чужими, и хотя я пытался как-то раз перед ним извиниться, он прошел мимо меня, высоко держа голову, а выслушав с холодной, отчужденной, презрительной улыбкой объяснения, которые я, заикаясь, пролепетал, небрежно бросил:

– Можешь спать с кем хочешь, мальчик.

Теперь же он сидел с задумчивым и несколько апатичным видом и смотрел куда-то в пространство.

– Дедушка! – воскликнул я.

Он медленно обернулся. Показалось мне это или глаза его в самом деле загорелись при виде меня? Молчание.

– Я знал, что ты вернешься, – просто сказал он. И, не в силах подавить свою ужасную любовь к назиданиям, добавил: – Старые-то друзья ведь лучше новых.

Глава 6

Наконец я успокоился и, усевшись на коленях у дедушки – радостное обстоятельство, подтверждавшее наше примирение, – излил ему душу. Он молча выслушал меня. Затем твердой рукой взял с подставки набитую трубку.

– Выход только один, – сказал он своим самым спокойным тоном (и каким же благом была для меня спокойная логика его суждений после стольких смутных дней!). – Весь вопрос в том, можешь ли ты это сделать.

– Могу! – с жаром выкрикнул я. – И сделаю, сделаю, сделаю!

Он раскурил трубку и несколько раз неторопливо затянулся.

– Кто у вас в классе самый сильный... самый крепкий... самый упорный?

Длительных раздумий для этого не требовалось: ответ мог быть только один. И я без заминки сказал:

– Гэвин Блейр.

– Сын мэра?

Я кивнул.

– В таком случае... – Дедушка вынул трубку изо рта. – Тебе придется драться с Гэвином Блейром.

Потрясенный, я молча уставился на него. Гэвин вовсе не принадлежал к числу моих мучителей. Он презирал всю эту омерзительную возню и держался в стороне. Вообще в школе он лишь два раза обратился ко мне. Этот мальчик был во всех отношениях на голову выше остальных: умный и в то же время очень собранный, он был первым учеником в классе и любимцем даже Далглейша. В любой игре он был самым искусным, и все знали, что он одной рукой может уложить Берти Джемисона. Я попытался объяснить все это дедушке.

– Ты что, боишься? – спросил он.

Я потупился: перед моим мысленным взором возникло крепкое, мускулистое тело Гэвина, его небольшой, но упрямый подбородок, ясные серые глаза. Я вовсе не принадлежал к числу героев-мальчишек, о которых пишут в книжках, и порядком струхнул.

– Я не умею драться.

– А я научу тебя. Научу за неделю. Главное ведь не в росте противника, а в состоянии его духа. – Он повел плечами. – Мы, конечно, можем, если хочешь, написать письмо Далглейшу и попросить его поговорить с мальчиками. Но потом они будут еще больше насмехаться над тобой. Тут дело принципа: надо вздуть самого сильного из них. Так как же, берешься ты это сделать или нет?

Я весь дрожал и все-таки, как ни странно, сумел прийти к определенному решению, – должно быть, вот так же самоубийцы приходят к решению выброситься из окна высокого здания. И я буркнул еле слышно:

– Да.

Обучение началось в тот же вечер, после того как я помог маме вытереть посуду. Бабушку решено было не посвящать в наши планы. Дедушка заставил меня принять ряд положений, настолько неудобных, что у меня все тело сводило от напряжения: я стоял, выставив вперед кулаки и так низко нагнув голову, что видел лишь носки своих сапог. А дедушка в точно такой же позе стал напротив меня; не успел он скомандовать «левой начинай», как я с такой стремительностью саданул его в живот, что он, согнувшись и задыхаясь, полетел в кресло.

– Ой, дедушка! – в ужасе воскликнул я. – Я не хотел тебе сделать больно.

Дедушка ужасно рассердился. И не потому, что я сделал ему больно, а просто потому, что поступил не как джентльмен, ударив его «ниже пояса». Переводя дух, он сурово отчитал меня, рассказал о недопустимых в боксе приемах, а затем велел пробежаться до конца улицы и обратно, чтобы размять ноги.

Все последующие дни он упорно трудился, наставляя меня в благородном искусстве самозащиты. Он рассказал мне о кровавых и вдохновляющих подвигах Джема Кувалды, Джима Джентльмена и Билли Мяслика, который дрался восемьдесят два раунда подряд с перебитой челюстью и оторванным ухом. Он велел мне не пить воды или пить как можно меньше, чтобы кожа моя приобрела большую упругость. Он даже жертвовал в мою пользу сыр, который ему давали к обеду, – единственное его лакомство – и заставлял меня медленно съедать кусочек за кусочком у него на глазах, а у самого слюнки так и текли по усам.

– Ничто так не укрепляет мышцы, как данлопский сыр, мой мальчик.

Я не сомневался, что это так, но уж больно я страдал от изжоги.

В субботу к вечеру дедушка отправился со мной на кладбище и там показал мои достижения своим друзьям. Я принимал различные позиции бокса, а он тем временем с весьма таинственным видом объяснял зрителям причину предстоящей драки. Я услышал, как ехидно рассмеялся Сэдлер.

– А как же твои великие идеи, Гау? Ты тут все толковал, что надо так жить, чтоб другим не мешать, и вдруг нате – затеваешь драку.

– Видишь ли, Сэдлер, – сухо отвечал ему дедушка, – иной раз приходится драться, чтоб можно было жить.

Мистер Боаг после этого уже не посмел раскрыть рта, но мне ясно было, что он весьма невысокого мнения о моих шансах на успех.

Наконец наступил роковой день. Когда я вышел на площадку лестницы, дедушка позвал меня к себе в комнату и торжественно пожал мне руку.

– Помни, – сказал он, глядя мне в глаза, – все, что угодно, но только не бойся.

Я чуть не разревелся – дедушкиному сыру, видно, не удалось уничтожить влияние тех полных мягкой нежности лет, которые я провел под крылышком моей бедной мамочки. Самым скверным было то, что, хотя гонение против меня и продолжалось с неослабевающим рвением,

Гэвин последнее время стал склоняться на мою сторону: он смазал разок Берти Джемисона за то, что тот грубо сбросил меня во время игры в чехарду, а потом как-то раз, в классе, увидев, что мне нужна резинка, молча передал мне свою. Но я дал слово дедушке, и теперь ничто не должно меня остановить. Наставник мой решил, что битва должна произойти в четыре часа, сразу после занятий. Весь этот день я дрожал как в лихорадке и не спускал глаз со спокойного, умного, сосредоточенного лица Гэвина, сидевшего на противоположном конце класса. Он был красивый мальчик: глубоко посаженные глаза с темными ресницами, короткая, горделиво вздернутая верхняя губа, типичное лицо уроженца Северной Шотландии – отец его ведь был родом из Перта, а покойная мать принадлежала к инверэрийским Кэмпбелам. Сегодня, возможно, потому, что он собирался вечером в гости со своей старшей сестрой, на нем была шотландская юбочка, темный плед цветов, какие носили Блейры, простая кожаная сумка и черные башмаки. Два раза глаза его встретились с моими глазами, в которых, наверно, отражалась непонятная ему мольба. На сердце у меня было тяжело. Я почти любил Гэвина. И все-таки я должен с ним драться.

На высокой серой башне школы старинные часы пробили четыре... Последняя надежда на то, что мистер Далглейш задержит меня, испарилась. Я был отпущен вместе со всеми. И вот я уже иду по площадке для игр, а Гэвин шествует впереди меня, небрежно перекинув на спину ранец. Скорее, скорее надо что-то предпринять, если я не хочу предстать перед дедушкой жалким трусом. Я потерял голову и, ринувшись вперед, изо всех сил толкнул Гэвина. Он круто обернулся и увидел меня: я шагнул к нему, сжав кулаки и поставив их один на другой, точно держал свечку во время крестного хода.

– А ну-ка, сбей! – выдавил из себя я; угроза эта, если не повсюду, то уж в Ливенфорде во всяком случае означает призыв к драке.

И тотчас удивленные мальчишки с воодушевлением закричали вокруг: «Драка! Шеннон против Гэвина. Драка! Драка!»

Гэвин вспыхнул – он был блондин и потому легко краснел – и с досадой посмотрел на мальчишек, уже окруживших нас. Что поделаешь, придется принять вызов, даже такой жалкий. И он ударом ладони сбил мои кулаки. В одно мгновение я снова поставил кулак на кулак, только на этот раз так, чтоб они не приходились против моей груди.

– А ну, плюнь!

Гэвин плюнул со знанием дела.

Но на этом ритуал не кончался. Носком ботинка, который, казалось, существовал отдельно от моих дрожащих ног, я провел волнистую черту по гравию площадки.

– А ну, посмей переступить!

Гэвин, как я не без ужаса заметил, начал злиться. Он быстро шагнул за черту.

У меня душа ушла в пятки. Оставалось сделать последнее. Мальчишки вокруг замерли. Еле шевеля пересохшими губами, я прошептал:

– А ну, ударь меня, трус!

Он без промедления саданул меня в грудь. Как глухо отозвался этот удар, точно кости у меня были из картона! А как я побелел! Но отступления быть не могло. Я сжал стучавшие зубы и ринулся на моего любимого Гэвина.

Я забыл все, чему учил меня дедушка, абсолютно все. Тощие руки мои отчаянно замесили в воздухе. Я не раз попадал в Гэвина, но неизменно в самые твердые и наименее уязвимые места, вроде локтей, челюсти и особенно квадратных металлических пуговиц на его юбочке. И до чего же вредные эти ужасные пуговицы, просто обидно! От каждого удара, нанесенного Гэвину, я сам страдал куда больше, чем он. Зато он, наоборот, попадал в самые мои уязвимые и болезненные места.

Дважды он валил меня на землю под дружный одобрителный рев зрителей. До сих пор я считал, что не способен прийти в ярость. Но этот гнусный одобрителный рев пробудил ее

во мне. Да, все-таки нет ничего низменнее человеческих существ, которые, отойдя подальше, черпают наслаждение в кулачной драке и в муках своих товарищей! Откуда-то из самой глубины души во мне поднялась ярость против моих подлинных врагов, их расплывавшиеся перед моими глазами ухмыляющиеся лица понуждали меня показать им, каков я есть на самом деле. И, поднявшись с гравия, я снова ринулся на Гэвина.

Он рухнул у моих ног. Воцарилась мертвая тишина. Но вот Гэвин приподнялся, и маленький Хови, по прозвищу Белка, крикнул:

– Ты же только поскользнулся, Гэвин! Дай ему как следует! Дай ему!

Теперь Гэвин действовал осторожнее. Он долго кружил возле меня – наскоки мои были ему явно не по душе. Мы оба порядком устали – дыхание со свистом вырывалось у нас из груди, точно пар из котла. Мне было жарко, я раскраснелся – холодного липкого пота как не бывало. С немалым изумлением я вдруг заметил, что один глаз у Гэвина побагровел и почти закрылся. Неужели это я так разукрасил его, такого героя? И тут до слуха моего сквозь шум, гам и смятение донесся чей-то голос, – я возликовал. Голос этот принадлежал одному из «старших»: группа старшеклассников остановилась возле нас по дороге в гимназию.

– Да вы только посмотрите, ребята, как лихо дерутся Зеленые Штаны!

О радость, о восторг! Я не опозорил дедушку. А ведь я так боялся, что окажусь трусом. И я снова ринулся на моего обожаемого Гэвина, словно хотел заключить его в объятия. Мы сцепились, и тут он вдруг поднял голову – без всякого злого умысла.

Я получил такой удар по носу, что искры посыпались у меня из глаз.

Хлынула кровь. Я почувствовал, как что-то теплое и соленое потекло мне в рот, заструилось ручьем из ноздрей, закапало на рубашку. Вот уж никогда бы не подумал, что в моем тщедушном теле столько крови. Но мой боевой дух от этого ничуть не пострадал. Больше того, голова у меня даже лучше стала соображать, только вот ноги почему-то снова не слушались. Преодолевая головокружение, я ударил Гэвина и снова угодил костяшками прямо по его пуговицам. Завертелись слепящие огни... Крики, фейерверк... Может, это комета Галлея промелькнула в небе? Я продолжал размахивать руками, но тут кто-то сзади схватил меня. А другой из «старших» точно так же схватил за шиворот Гэвина.

– Будет, сопляки, на сегодня будет. Пожмите друг другу руки. Молодцы, хорошо дрались. Ну-ка, пусть кто-нибудь сбегает за ключом от вестибюля. Из этого недоноска кровь хлещет, как из недорезанной свиньи.

Я лежал на спине на школьной площадке, к затылку мне приложили огромный холодный ключ, а подле меня с перепачканным, озабоченным лицом стоял на коленях Гэвин. Одежда моя промокла насквозь, и старшие мальчики уже начали тревожиться, что никак не удастся остановить кровь. Наконец они заткнули мне ноздри обрывками платка, смоченного в соленой воде, и добились желаемого результата.

– Полежи спокойно минут двадцать, малыш, и все будет в полном порядке.

И они ушли. Мало-помалу разошлись и все мои одноклассники – все, кроме Гэвина. Мы остались одни на непривычно пустой площадке, которая еще совсем недавно служила для нас ареной боя и была закапана кровью, истоптана и взрылена нашими ногами. С трудом соображая, я сделал слабую попытку улыбнуться Гэвину, но пробки в носу и кровавая корка, образовавшаяся на лице, помешали мне.

– Не шевелись, – участливо сказал он. – Я не хотел ударить тебя головой. Как-то нечестно это получилось.

Я так решительно дернулся в знак протеста, что у меня чуть снова кровь не пошла из носа. С большим трудом мне все-таки удалось улыбнуться.

– А мне очень жаль, что я подбил тебе глаз.

Гэвин осторожно обследовал закрывшийся глаз и улыбнулся; его теплая, дружеская улыбка, словно солнечный луч, согрела меня.

Когда с кончиков носового платка, хвостиками торчавших из моих ноздрей, перестало капать, Гэвин осторожно вытащил их. Затем он помог мне встать, и мы вместе молча двинулись в путь по Драмбакской дороге.

Комета Галлея по-прежнему сияла на небе. У дома Гэвина мы остановились.

– Тебе нельзя в таком виде показываться своим. Зайди ко мне и вымойся.

Я неуверенно прошел вслед за Гэвином в ворота, украшенные по бокам двумя фонарями, указывавшими на то, что это резиденция мэра – недаром на стекле их был изображен городской герб, – а затем по тщательно подметенной дорожке, обсаженной кустами, направились к дому. Сад был большой и содержался в образцовом порядке – в отдалении у тачки возился садовник. Мы обогнули виллу и подошли к большой конюшне, возле которой была водопроводная колонка. Только мы начали смывать следы нашей потасовки, как из окна нас заметила взволнованная горничная в черной форме с аккуратным белым передничком, а через минуту из дома к нам уже спешила дама в коричневом платье.

– Дорогие мои мальчики, да что же с вами такое случилось? – Это была Джулия Блейр, старшая сестра Гэвина, которая после смерти матери вела у них хозяйство. Достаточно ей было окинуть нас испытующим взглядом, чтобы понять все. Она повела меня наверх, в комнату Гэвина – чудесную комнату, где он жил один и где была уйма фотографий, удочек, рыболовных снастей и глиняных и деревянных фигурок, которые он сам мастерил. Тут она велела мне снять перепачканную одежду и отдала ее горничной, которая не без брезгливости взяла мои вещи, чтобы завернуть их в плотную бумагу; сама же мисс Блейр заставила меня надеть чудесный серый шерстяной костюм Гэвина.

– Я хорошо знала твою маму, Роберт, – с материнским участием сказала она. – Почему бы тебе не зайти к Гэвину, когда... – и она оглянулась, ища брата, но он задержался на кухне, где ему врачевали глаз, – когда вы оба поправитесь. – Внизу, у входной двери, вручая мне пакет с моими вещами, она вдруг смутилась, и краска залила спокойное лицо этой уже вполне зрелой молодой женщины. – Только, пожалуйста, не вздумай возвращать нам костюм Гэвина, Роберт. Он уже вырос из него. – Она долго еще стояла на ступеньках и смотрела мне вслед, пока ступающие сумерки не поглотили меня.

Я медленно побрел по дороге к «Ломонд Вью». Только сейчас я почувствовал, как безумно устал. Все тело у меня болело, голова кружилась, и я с трудом передвигал ноги. Сник я не только физически, но и духовно. Огромный дом Гэвина гнетуще подействовал на меня. Своеобразное уныние, в которое впоследствии суждено мне было надолго впасть и которое не позволило мне в полной мере насладиться даже теми бесспорными удачами, что выпадали мне в жизни, овладело сейчас мной. Вспоминая о том, что произошло, я испытывал все возрастающее недовольство собой. В конце концов, если бы старшие мальчики не остановили нас...

Так я добрался до калитки своего дома и тут увидел дедушку, поджидавшего меня в полном одиночестве.

Мы долго молчали. Он сразу охватил взглядом мое бледное вытянутое лицо.

– Ты победил? – тихо спросил он.

– Нет, дедушка, – запинаясь, пробормотал я. – По-моему, проиграл.

Без единого слова он повел меня к себе в комнату и усадил в свое кресло. И я сказал:

– Я не боялся... когда мы сцепились, я уже больше не боялся...

Постепенно он вытянул из меня подробный рассказ о драке. Его возбуждение было мне непонятно. Когда я кончил свой рассказ, он в волнении схватил мою руку и принялся ее трясти. Потом встал и, взяв пакет из толстой бумаги, в котором заключалась причина всех моих несчастий, бросил его в огонь. Мой зеленый костюм горел страшно долго и надымил до ужаса. Наконец его не стало.

– Вот как мы с ним разделились, – сказал дедушка.

Глава 7

В последовавшие за этим событием недели, когда бесконечно тянулись темные вечера, на улице бушевал ветер и злился мороз, закоренелая вражда между двумя моими предками, в основе которой лежало различие взглядов и неравенство положения, продолжала проявляться в молчаливой борьбе за овладение моей особой.

Бабушка страшно рассердилась, увидев меня в другом костюме: она дала мне хорошего шлепка, а ночью, когда мы лежали рядом в постели, весьма резонно корила меня за черную неблагодарность; я должен вести себя совсем иначе, сказала она, если хочу по-прежнему быть ее «сыном». Она стала еще больше пекся о моем здоровье, которое и раньше внушало ей серьезные опасения, а теперь стоило мне чихнуть, как она заявляла, что у меня воспаление легких, и щедро потчевала какой-то темной жидкостью собственного приготовления. Я же, несмотря на все это, чувствовал себя счастливей, чем прежде.

В школе положение мое после драки резко изменилось, и способствовала этому, быть может, не столько сама драка, сколько поистине баснословное количество потерянной мною крови. Событие это грозило стать чуть ли не исторической вехой, ибо мальчишки, рассказывая о чем-нибудь, уже говорили, что это было до или после «того дня, когда у Шеннона шла кровь носом». Как бы то ни было, я выглядел теперь вполне прилично в сером костюме, за который благословлял мисс Джулию Блейр, и никто больше не издевался надо мной. Больше того, Берти Джемисон и его приспешники из кожи лезли вон, выказывая мне знаки внимания. Теперь все знали, что Гэвин мой друг.

Гэвин, как я уже говорил, держался в стороне от остальных мальчиков – не то чтобы он зазнавался, потому что жил лучше, чем они (у его отца была стародавняя розничная торговля хлебом и фуражом), а просто такой уж у него был характер и склонности, словом, его внутренний мир был иным. Во все обычные игры он играл умело, но без увлечения, так как вкусы и желания его были далеко не обыденными. На книжных полках его уютной комнаты стояла многотомная «История естественного мира», в которой полно было цветных рисунков на глянцевой бумаге, изображающих птиц, насекомых и растения, с напечатанными внизу названиями. У него была великолепная коллекция птичьих яиц. На одной из стенок висела под стеклом фотография самого Гэвина, в широких штанах до колен, в руках у него была большущая рыба; его отец, известный рыболов, частенько брал с собой сына на озеро Лох-Ломонд, и прошлой осенью Гэвин, которому не было тогда еще и девяти лет, поймал острой двенадцатифунтового молодого лосося.

Однако все эти замечательные качества Гэвина не могли идти ни в какое сравнение с его внутренней сущностью, с той духовной его сущностью, определить которую словами нельзя. Мальчик он был молчаливый – очень молчаливый, поистине спартанского склада. Крепко сжатый рот, маленький решительный подбородок, казалось, спокойно говорили жизни: «Я никогда не сдамся».

В пятницу, на следующей неделе после нашей драки, он поджидал меня у выхода из школы и, не говоря ни слова, лишь улыбнувшись застенчивой улыбкой, зашагал рядом со мной по Главной улице. И до чего же мне это было приятно после стольких недель вынужденных скитаний по обходным путям и задворкам! По дороге мы заглянули на склад к его отцу и с полчаса провели на заднем дворе, в конюшне, наблюдая, как Том Дрин, старший возчик, давал лекарство лошади, только что перенесшей круп. Когда на обратном пути мы проходили через огромные амбары, набитые сеном и зерном, где среди груд мешков с мукой крупного помола, с бобами и овсом сновали рабочие в белых передниках, нас позвал к себе мэр.

– Я рад, что вы поладили, – сказал он, улыбнувшись нам своей загадочной улыбкой – улыбкой олимпийского божества, и дал каждому по пригоршне сладких бобов, которые мы называли «липучими».

Возвращались мы домой уже в сумерках, грызли бобы, и я пытался объяснить Гэвину, какой он счастливый и как здорово, что у него такой папа, а он слушал, зардевшись от гордости, – ничего более приятного я, конечно, не мог бы ему сказать. Мы остановились у калитки «Ломонд Вью», и он, глядя вниз, на носок своего ботинка, которым он тихонько постукивал по краю тротуара, заметил:

– Весной я пойду искать птичьи гнезда... на Уинтонские холмы... яйца золотистой ржанки... так что, если хочешь...

Какая радость: он выбрал меня, Гэвин избрал меня, чтобы вместе бродить по Уинтонским холмам! Искать яйца золотистой ржанки! В ту ночь я почти не спал – все думал об этом. Какие волнующие, чудесные приключения ждали меня...

Но стоп... Прежде чем перейти к описанию этих восхитительных странствий, я должен поведать об одном визите и о моем знакомстве с последним представителем семейства Лекки.

Однажды вечером в начале января, когда мама вернулась из своего очередного паломничества к почтовому ящику, мы услышали, как она радостно вскрикнула, точно получила послание от архангелов.

– Это от Адама. – Она принесла письмо на кухню, где мы пили чай. – Он приезжает в субботу в час дня. Ненадолго. По делам.

И она нехотя отдала письмо папе, который уже ревниво тянулся к нему. Письмо обошло всех домашних. Только дедушка, которого, видимо, мало интересовало это известие, да Кейт, сидевшая с мрачным видом, остались к нему равнодушны.

Мама принялась рассказывать про Адама, и я слушал ее затаив дыхание: как Адам всегда выигрывал, когда мальчиком играл в камушки, и какая трезвая была у него голова; как он тринадцатилетним подростком купил велосипед и продал его на целых десять шиллингов дороже; как год спустя он поступил на службу к мистеру Мак-Келлару без всяких видов на будущее; как, отсидев положенные часы, он вечерами собирал взносы для «Страховой компании Рока» и все свое жалованье откладывал; как, не достигнув еще двадцати семи лет, он уже создал себе положение в страховом деле и представляет сейчас в Уинтоне, где у него контора в здании общества, под девизом «Всегда верный», сразу две компании – «Каледонскую» и «Рока», – ну и зарабатывает, конечно, не меньше четырехсот фунтов в год, то есть больше – у мамы даже дух занялся, – чем сам папа.

После этого мама с гордостью показала мне его подарок: невероятно желтую золотую брошку, которая – сам Адам сказал ей это – стоит кучу денег.

В субботу, около часу дня, к двери подкатил автомобиль. Да не создается у читателя неверных представлений и ложных надежд – автомобиль этот не принадлежал Адаму. И все-таки это был *автомобиль*! Одна из первых моделей «Аргайл» – ярко-красная машина с маленьким, отделанным медью радиатором, на котором красовался аргайльский голубой лев, с широким кузовом, красивыми боковыми сиденьями и дверцей позади...

Вошел Адам – самодовольный, улыбающийся, в пальто с воротником из коричневого меха. Он поцеловал маму, которая с рассвета была на ногах, готовясь к встрече, энергично потряс руку папы и соответственно поздоровался с каждым из нас. Был он брюнет, среднего роста, уже начинавший полнеть, на его гладко выбритых щеках играл сейчас яркий румянец от быстрой езды по морозу. Садясь за стол, на который мама с любовной расточительностью поставила прямо из печки бифштекс, цветную капусту и картофель, он пояснил, что мистер Кэй, один из компаньонов новой автомобильной фирмы «Аргайл», ехал из Уинтона в Александрию и подвез его. Они проделали пятьдесят миль меньше чем за два часа.

Мы все сидели вокруг и смотрели, как он пирует в одиночестве: мы уже пообедали картофельной запеканкой с мясом за час до этого; он рассказывал, что, приехав в город всего полчаса тому назад, уже успел переговорить с мистером Мак-Келларом по поводу нескольких страховых дел. И он чуть ли не игриво подмигнул мне своими маленькими, как у папы, но только светло-кариими глазками. А я так и вспыхнул от удовольствия.

Мама, успевшая за это время потихоньку сбежать в переднюю и осмотреть чудесное новое пальто сына с меховым воротником, вернулась и теперь подобострастно прислуживала ему.

– Нам надо кое-что обсудить, – прерывая свой рассказ, заметил Адам и улыбнулся ей. – Страховку старика.

– Да, Адам. – Папа, который ради такого случая не пошел сегодня на работу, придвинул свой стул поближе к Адаму. Говорил он доверительно, с уважением.

– Ей почти вышел срок, – озабоченно проговорил Адам. – Семнадцатого февраля... Четыреста пятьдесят фунтов чистоганом могут быть выплачены, как договорено, маме.

– Кругленькая сумма, – сдавленно произнес папа.

– Очень даже, – согласился Адам. – Но мы могли бы получить гораздо больше.

Глядя на озадаченное лицо папы, он слегка улыбнулся и пояснил:

– Если бы мы продлили существующую страховку, а это я легко мог бы устроить, то сумма, которая была бы выплачена по достижении семидесяти пяти лет или в случае смерти, исчислялась бы вместе с процентами примерно в шестьсот фунтов.

– Шестьсот фунтов! – повторил, словно эхо, папа. – Но это значит, что сейчас мы ничего не получим!

Адам пожал плечами.

– Таковы условия. «Страховая компания Рока» – предприятие не менее надежное, чем государственный банк. Такая возможность не каждый день представляется. Что ты на это скажешь, мама?

У мамы был на редкость несчастный вид, пальцы ее нервно перебирали фартук.

– Я ведь уже говорила... неприятно мне наживаться на собственном отце... во всяком случае, таким способом...

– Ну что ты, мама. – Адам снисходительно улыбался. – Мы ведь давно уже все это обговорили. Он должен тебе за стол и за кров. К тому же давай вспомним историю страховки. Когда дедушка застраховался много лет назад, это была жалкая страховка старой компании «Кэсл» на пять шиллингов в месяц. И ты помнишь, что она была прекращена и похоронена вместе с компанией «Кэсл». Тем бы все и кончилось, если б я не вступил в «Компанию Рока» и не раскопал этого дела, а потом не уговорил мистера Мак-Келлара в порядке личной услуги засчитать ту старую сумму при новой страховке дедушки.

Мама вздохнула, но не сказала ни слова.

– А за продление страховки ты тоже потребуешь проценты? – настороженно спросил папа.

– Ну конечно, – нимало не обидевшись, рассмеялся Адам. – Бизнес во всем мире одинаков.

Наступила пауза – папа думал, затем нерешительно проговорил:

– Ну хорошо... хорошо, Адам. Мы, пожалуй, продлим страховку.

Адам одобрительно кивнул.

– Очень разумно. – Он открыл саквояж, стоявший у его ног, и вынул оттуда сложенный документ. – Здесь написаны условия страховки. Я оставляю это тебе, мама. Пусть дедушка подпишет бумагу до семнадцатого.

– Да, Адам. – В голосе мамы по-прежнему чувствовался легкий упрек.

Хотя деловая сметка Адама и произвела на меня сильнейшее впечатление, суть разговора осталась для меня непонятной. Немного позже, когда папа ушел на работу и мы с Адамом

остались наедине, у него нашлось время, хотя он и спешил на поезд, отбывавший в половине третьего, перекинуться словечком и со мной.

– Я надеюсь, ты проводишь меня на станцию, Роберт. – И он встал, ковыряя в зубах перышком; маленькие глазки его дружелюбно поблескивали. – Мне хотелось бы сделать тебе небольшой подарок. Так сказать, в память нашей первой встречи. Видишь это? – Из кошелечка, прикрепленного к часовой цепочке, он вынул полсоверена и, зажав монету между большим и указательным пальцами, поднес к самым моим глазам. – Денежка... совсем новенькая, прямо с монетного двора... и штука, надо сказать, весьма полезная, что бы ни плели те, у кого этого презренного металла нет. Так вот, Роберт, неплохо еще с детства знать цену деньгам. Ты пойми меня правильно. Я не из скупердяев. Я люблю блага, которые могут дать деньги: есть самое вкусное, носить самое лучшее, останавливаться в наилучших гостиницах, пользоваться услугами других людей. Так я смотрю на жизнь. Можно смотреть на нее иначе... Взять хотя бы дедушку – ни фартинга за душой, живет где-то под крышей на хлебе с сыром, даже паршивый табак и тот получает из милости... – Внезапно оборвав сам себя, он взглянул на часы и так подкупающе улыбнулся, что я не мог не улыбнуться ему в ответ.

Дожидаясь его в передней, я обнаружил, что горячо одобряю его точку зрения на тяготы жизни и на роль, которую играют в ней деньги. И мне захотелось поскорее дожить до той минуты, когда я, набив карманы звонкой монетой, тоже войду в ресторан и высокомерно закажу подбежавшему официанту бифштекс. Я даже вздрогнул в радостном предвкушении подарка, который мне купит Адам на свои чудесные полсоверена.

– Ты не откажешься поднести мой саквояж? – небрежным тоном спросил меня Адам, пока мама помогала ему надевать пальто.

Горячо заверив его в своей готовности служить ему, я поднял саквояж, из которого выпирали какие-то предметы, вовсе не похожие ни на книги, ни на бумаги; он оказался тяжелее, чем я предполагал. Мама снова поцеловала Адама, и мы отправились на вокзал. Адам шел быстрым пружинистым шагом, а я, перебрасывая саквояж из одной руки в другую, чуть ли не бежал, чтобы не отстать от него.

– Ну так какой же подарок ты хочешь, чтобы я тебе купил?

– Мне все равно, Адам, – задыхаясь, вежливо ответил я.

– Нет, нет, – настаивал Адам. – Это должно быть что-то такое, что тебе бы хотелось иметь, мой юный дружок.

Какая щедрость! Какое понимание! Я осмелел и сказал, чего бы мне хотелось. Городской пруд «порядком застыл»: он покрылся четырехдюймовым слоем крепкого льда, и по пути в школу и обратно я не раз останавливался поглазеть на конькобежцев – мне-то ведь не дано было вкусить такого счастья.

– Мне бы очень хотелось коньки, Адам. Они есть в витрине у Ленгланда на Главной улице.

– Ах, коньки! Ну, не знаю. Ты же не можешь кататься на коньках летом?

Хоть его слова и огорчили меня, я не мог не признать логичности его довода.

– Футбольный мяч был бы, пожалуй, лучше, – продолжал он. – Беда только, что тебе придется играть им с другими мальчиками. А они не станут его беречь: пропорют ногой, и он лопнет, или потеряют где-нибудь. Так что мячик фактически и принадлежать-то тебе не будет. Ну а что ты скажешь насчет перочинного ножа? – предложил Адам, раскланиваясь со знакомым, шедшим по противоположной стороне улицы. – Впрочем, нет, ты можешь порезаться. Это опасно. Давай подумаем о чем-нибудь еще.

Тяжелый саквояж оттянул мне все руки; я еле поспевал за Адамом, обливаясь потом и чуть не пригибаясь к самой земле.

– Я... я, право, ничего не могу придумать, Адам.

– Тогда вот что! – поразмыслив, воскликнул он. – И маме будет приятно, если я подарю тебе что-нибудь полезное. Да, пожалуй... – И он закончил радостной скороговоркой: – Нет, конечно, это как раз то, что нужно!

– Спасибо, Адам, большое спасибо. – Я думал только о том, как бы не умереть, пока дотащу его саквояж до станции.

Адам взглянул на часы.

– Осталось ровно две минуты. Живо, малыш! Да смотри не тряс саквояж.

И он помчался вперед, а я потащился за ним по лестнице. Поезд уже стоял у платформы. Адам вскочил в вагон первого класса для курящих, схватил у меня саквояж, так что я даже всхлипнул от облегчения, и принялся рыться в нем. Затем он высунулся из окошка и вложил в мои маленькие влажные ладони массивный литой календарь, блестящий, как мамина брошка; названия дней недели и числа перемещались в нем при помощи винтиков, а посередине было выгравировано:

«Страховая компания Рока „Semper Fidelis“»⁵.

– Вот, – сказал Адам с таким видом, точно вручал мне все сокровища короны. – Разве не красиво?

– Очень. Спасибо, Адам! – запинаясь от удивления, ответил я.

Кондуктор дал свисток, и Адам уехал.

Я возвращался с вокзала, преисполненный благодарности к Адаму и в то же время слегка раздосадованный и ошарашенный своим приобретением, а также быстрой сменой событий за этот день. Придя домой, я сразу поднялся наверх и показал свой трофей бабушке, который молча, чудно приподняв брови, осмотрел его.

– Это ведь не золото, бабушка?

– Нет, – сказал он. – От Адама золота не дождешься, это может быть только медь.

Короткая пауза; я перечел надпись на календаре.

– Бабушка, а это имеет какое-нибудь отношение к твоей страховке?

Бабушка побагровел – он страшно рассердился и был явно возмущен и обижен. Он в ярости гаркнул:

– Никогда не смей говорить при мне об этом мошеннике, а не то я сверну тебе шею!

Воцарилось молчание. Бабушка встал, чрезвычайно расстроенный, и принялся ходить по комнате из угла в угол. Он был величествен в своем возмущении.

– Самое страшное в этом подарке... самое непростительное проявление высокомерия... это мелкая скаредность!

И сначала с горечью, потом с иронией, потом уже смягчаясь, он все снова и снова повторял это мудрое изречение. Наконец, словно желая сгладить впечатление от своей резкости, он повернулся ко мне; я сидел весь скрючившись.

– Ты хочешь кататься на коньках?

Сердце мое заныло.

– Но у меня же нет коньков, бабушка.

– Ну, ну, разве можно так легко сдаваться. Посмотрим, может быть, что-нибудь и придумаем.

Улучив минуту, когда путь был свободен, он спустился в погреб, помещавшийся за чуланчиком, и принес деревянный ящик, полный старых гвоздей и болтов; там же валялись дверные ручки и заржавевшие коньки; все это – поскольку ничто, повторяю, ничто никогда не выбрасывалось в «Ломонд Вью» – скопилось тут за многие годы. Бабушка уселся в свое кресло (тогда как я сидел в одних носках на полу) и, попыхивая трубкой, принялся с помощью ключа

⁵ Всегда верный (лат.).

прилаживать самую маленькую пару коньков «Акме» к моим ботинкам. Огорчению моему не было границ: я видел, что у него ничего не получается. Но когда, казалось, всякая надежда была потеряна, дедушка вдруг обнаружил на самом дне ящика пару деревянных коньков, на которых каталась в детстве Кейт. Вот радость-то! Мы привинтили их к каблукам моих ботинок; выяснилось, что они мне в самую пору. Правда, у нас не нашлось ремней, чтобы прикрутить их, но у бабушки было сколько угодно крепких веревок, которые вполне могли заменить ремни. Он отвинтил коньки, я надел ботинки, и, радостные и оживленные, мы направились к пруду.

Какая приятная, веселая картина: на ледяном поле в полмили длиной и в четверть мили шириной весело носились, то сгибаясь, то разгибаясь, конькобежцы – они выполняли замысловатые фигуры, сталкивались, падали и снова вставали; под ясным голубым небом хрустел разрезаемый коньками лед и звенели голоса катающихся.

Дедушка приладил мне коньки и принялся терпеливо, чрезвычайно учено наставлять меня, как надо сохранять равновесие. Он скользил рядом со мной, направляя и поддерживая меня, пока я не выучился держаться сам. Тогда он вернулся на берег, раскурил трубку и вместе с мистером Боагом и Питером Дикки принялся наблюдать за мной.

В восторге от этого нового способа передвижения, я тем не менее с трудом ковылял по льду. В одном из уголков пруда, где было потише, какие-то искусные конькобежцы положили на лед апельсин – яркое пятно на сером, однообразном фоне – и выделяли разные фигуры вокруг него. Среди них была мисс Джулия Блейр, а также, к моему удивлению, Алисон Кэйс и ее мать – обе они катались очень прилично. Но вот Алисон заметила меня и, подъехав ко мне, взяла меня крест-накрест за руки. Подражая ей и стараясь соразмерить свои движения с ее движениями, я заскользил по кругу, и даже совсем неплохо. Я стал благодарить Алисон, но она лишь улыбнулась в ответ, слегка пожала плечами и помчалась назад к своей маме и апельсину. За все время, пока мы делали круг по пруду, она не произнесла ни слова.

Через некоторое время дедушка поманил меня к берегу и со своей таинственной улыбкой спросил:

– Ну как, нравится?

– Ох, дедушка, замечательно, просто замечательно!

А поздно вечером, уже засыпая, я подумал... Ну зачем мне, в конце концов, чтоб вокруг меня сустились официанты! Вот дедушка взял старые коньки и привязал их к моим ботинкам обрывками веревки – а сколько удовольствия я от этого получил! Жаль только, что я не встретил на пруду Гэвина. Да, бабушка, завтра я буду умницей. Не сердитесь на меня за то, что я такой неблагодарный, обещаю вам, что буду теперь помнить все ваши благодеяния. А сейчас... сейчас я хочу спать.

Глава 8

В тот год весна была ранняя, и три каштана, росшие перед домом, закивали своими белыми султанами мальчику, ошалевшему от чувства свободы, опьяненному предвкушением доселе неведомых радостей.

Пятнадцатого апреля бабушка, по своему обыкновению, уехала на несколько месяцев в Эршир к своей родне – я уже говорил, что год она делила поровну: осень и зиму проводила в Ливенфорде, а весну и лето – «пору цветения и произрастания» – в Килмарноке.

За это время мы с ней весьма продвинулись в выполнении религиозных обрядов. Никто – повторяю, никто – не мог бы с большей деликатностью, чем бабушка, вести себя по отношению ко мне. Она была ревностным членом маленькой, но весьма деятельной секты, в которую ее ввел покойный супруг, была глубоко убеждена, что следует истинной вере, и тем не менее ни разу не пыталась навязать мне свои взгляды. И ни разу не перешла она границ терпеливого ожидания. Самые решительные действия она предпринимала по воскресеньям после обеда:

уводила меня к себе в комнату, и там, примостившись у ее ног, я читал вслух избранные места из Библии. Одобрительно кивая и слегка покачиваясь в качалке, стоявшей у окна, на стеклах которого сонно жужжали мухи, она слушала рассказ о войне между Саулом и Давидом и, глядя вниз на дорогу, где по воскресеньям местные жители прогуливались до Драмбакского кладбища, посасывала не мягкую мятную лепешку, какие предпочитал безрассудный дедушка, а жесткую кругляшку – «имперскую», которая долго, точно погремушка, позвякивала о ее зубы. (У меня было такое ощущение, что разница в выборе любимых сластей соответствует разнице в характерах моих предков.) Время от времени бабушка прерывала мое чтение и давала мне краткие наставления, как должно жить и каким злом является скрытность, а главное – как твердо надо противостоять Сатане.

Сатана, Нечистый, Люцифер или, как бабушка еще называла его, Чудище был ее личным врагом, который только и делает, что скалит зубы, стараясь укусить за локоть Праведника, и поскольку ее суровая вера незаметно подкрепляла те познания в этой области, которые я почерпнул в детстве, дьявол приобрел в моих глазах пугающую реальность.

Зимними вечерами, когда бабушка отправлялась к своим единоверцам, я обязан был принести в постель глиняный кувшин-грелку с горячей водой, который она называла «гушинчиком», и если она не возвращалась к восьми часам, то я раздевался и ложился спать один. Надо сказать, что на верхнем этаже вообще было мало света, да и дедушка частенько уходил из дому – только не в церковь, конечно. И вот, лежа в темной, полной шорохов спальне, окруженный со всех сторон призрачными, угрожающе надвинувшимися стенами с потрескивающими деревянными панелями, я чувствовал каждым нервом, напряженным до предела, что, кроме меня, в комнате еще кто-то есть. Нечистый был тут – он прятался под бабушкиной вешалкой, – и стоит мне немножко ослабить внимание, как он прыгнет на меня.

Долго я лежал неподвижно, весь напрягшись и затаив дыхание, и наконец не выдерживал. Под природной застенчивостью у меня все-таки таилось немножко храбрости – я выскакивал из постели и подбегал к страшному шкафу. Я останавливался перед ним – маленькая белая фигурка с подгибающимися коленями, освещенная слабым блеском уличного фонаря, – и дрожащим голосом зывал:

– Вылезай, Сатана! Я знаю против тебя слово – ты со мной ничего не сделаешь.

И, трижды перекрестившись, как положено, я распахивал дверцу. На секунду сердце у меня переставало биться... Но нет, в шкафу ничего не было видно – ничего, кроме смутных очертаний бабушкиных платьев. Облегченно всхлипнув, я поворачивался и с размаху бросался на кровать.

Бабушка понятия не имела об этих моих ночных страхах и, мне кажется, была вполне довольна своим умелым обращением с моим слабым и несознательным духом. Собираясь в Килмарнок, она надела новый чепец, сунула мне в руку шестипенсовик и, выудив у меня обещание принимать лекарство, многократно повторив, что надо «быть стойким», пробормотала:

– Когда я вернусь, мой ягненок, мы решим, как нам с тобой быть.

Сердце мое было полно теплых чувств к бабушке. И все-таки, как ни странно, после ее отъезда я вздохнул свободнее, особенно когда мама перевела меня на койку, отгороженную занавеской от кухни. О, сладостное ощущение своего отдельного уголка – ведь у меня теперь была все равно что собственная комната!

Дедушка, казалось, тоже почувствовал себя свободнее. Первым делом он взял большую бутылку с лекарством, которую оставила мне бабушка, и, как всегда загадочно улыбаясь, выбросил ее из окна. Папоротник, который рос на лужайке внизу, сразу пожелтел и завял; увидев это, Мэрдок буркнул с мрачным видом – совершенно, впрочем, ошибочно – что-то насчет дедушкиных привычек.

Но все это мелочи, мелочи жизни – главное, что семейство, жившее в «Ломонд Вью», временно обрело спокойствие, наслаждаясь чудесным возрождением к жизни бурой оттаяв-

шей земли. Умиротворяющая тишина наступила на верхнем этаже: дедушка теперь каждый день преспокойно отправлялся на луг поиграть с Сэдлером Боагом в шары. А папа как-то в воскресный день надел красивый белый чехол на свою форменную фуражку и повел меня на водохранилище. Там, перегнувшись через красную остроконечную ограду, я любовался огромным резервуаром и красивым казенным зданием, в котором папа надеялся со временем поселиться, когда мистер Клегхорн, нынешний инспектор, уйдет в отставку. Мама стала меньше волноваться и реже подсчитывать, сколько ей надо пенсов и фартингов, чтобы свести концы с концами. По утрам слышно было, как Мэрдок, выскабливая свой подбородок, на котором едва пробивался пушок, звонким голосом распевал: «Люблю я крошку, прелестную крошку, душку-шотландочку». И только Кейт находилась в состоянии душевного разлада: все раздражало ее – и то, что растения быстро набирают соки, и что малиновки стремительно носятся в воздухе, таская соломинки для гнезд, и далекое призывное ржание жеребца на ферме Снодди.

Прежде чем поведать о моих собственных радостях, я попытаюсь со всею нежностью и осторожностью проникнуть в душу этой непонятной Кейт.

Мы сидим за сладким вокруг обеденного стола в атмосфере полнейшего дружелюбия, окно распахнуто настежь, и в комнату вливается аромат сирени, цветущей за домом. Мама, которая не любит, когда на тарелках что-нибудь остается, подбирает ложкой три консервированные сливы, одиноко лежащие на блюде.

– Кто хочет? – спрашивает она. – Очень полезно весной для кровообращения. – И протягивает ложку к тарелке насупившейся Кейт, но, не получив ответа, кладет сливы на тарелку Мэрдока.

Кейт тотчас вскакивает, шишки у нее на лбу становятся красными, точно от внезапного прилива крови. Она истерически кричит:

– Да, конечно, я в этом доме ничто! А я ведь тоже зарабатываю... и приношу немало денег... целый день учу этих вонючих выроdkов. Никогда, никогда больше не буду ни с кем из вас разговаривать!

И она выскакивает из комнаты; за ней следом выбегает расстроенная мама, но, отвергнутая, почти тут же возвращается и вздыхает, покачивая головой:

– Странная девушка наша Кейт.

Мэрдок великодушно готов отдать сестре сливы, но мама спешно наливает чай – целитель от всех бед – и просит меня отнести Кейт чашку этого бальзама. Выбор падает на меня только потому, что уж я-то, конечно, ничем не мог ее обидеть. Войдя в комнату Кейт, я застаю ее в слезах на постели, она больше не злится и только жалеет себя.

– Они все ненавидят меня, все до единого. – Она вдруг садится на постели и поворачивает ко мне залитое слезами лицо. – Ну скажи, мой хороший, неужели я в самом деле такая уродина?

– Нет, Кейт, конечно нет, ничего подобного. – Вопрос оказался настолько неожиданным, что я вру без зазрения совести.

– Твоя мама была куда красивее меня. Она была просто прелесть. – Кейт горестно покачала головой. – А у меня еще такое ужасное имя. Ну ты только подумай – Кейт. Кому-то захочется поехать с *Кейт* кататься при луне... или пойти послушать негритянский хор в «Пойнт»? Если ты когда-нибудь увидишь меня в обществе незнакомого тебе молодого человека, зови меня Айрин. Обещай, слышишь?

Я обещаю – покорно, но не без удивления. Ведь во всем остальном Кейт такая разумная, у нее репутация добросовестнейшего педагога и хорошие отзывы из педагогического колледжа, она хорошо играет в хоккей, отлично вяжет, посещает высшую женскую школу. «Непреклонность воли» – замечательное качество шотландцев – развита в ней до предела. Борясь с гнидами у своих злополучных учеников, она, такая чистюля, нередко находит насекомых у себя на одежде; придя домой, она прежде всего направляется в ванную и там, бледнея от отвращения, но не жалуясь, мрачно снимает с себя все и стряхивает. Посторонние всегда одобительно

отзываются о Кейт: «Такая достойная девушка». Это Кейт я обязан тем, что у меня теперь зубы в порядке: когда месяц тому назад они начали портиться, она молча взяла меня за руку и отвела к ливенфордскому зубному врачу мистеру Стрэнгу. Это она дает мне из своей маленькой библиотечки такие книги, как «Айвенго» и «Хирворд, проснись!». Но я знаю, что в одном ящике с ними – я его, затаив дыхание, втайне обследовал – лежат книжки, в последней главе которых рассказывается, как темнокудрый красавец-герой, бессвязно бормоча что-то, падает на колени перед своей возлюбленной, прелестной дамой в белом шелковом платье, которую он до сих пор не замечал...

– Ну вот что, Роби, – со вздохом говорит мне Кейт в заключение нашего разговора. – Я думаю, все равно, где прозябать – здесь или в другом месте.

Спустившись вниз, я говорю маме, что Кейт гораздо лучше. Но это отнюдь не так. Целых две недели все переговоры с семьей ведутся при помощи записочек. Она устраивает бурную сцену и ссорится со своей лучшей подругой Бесси Юинг, и Бесси, преданная очкастая Бесси, поздно вечером прибегает к нам и подолгу взволнованно совещается с мамой в чуланчике за кухней. Бесси, которая еще со школьных времен стойчески переносила характер Кейт, – умная девушка из интеллигентной семьи, живущей на Ноксхилле. Всю неделю она работает на местной телефонной станции, а по субботам вечером надевает голубую с малиновым форму Армии спасения. Анемичная коротышка, но с красивыми пушистыми волосами, она похожа на ангелочка и любит интригуяще поглядывать на Мэрдока, когда они встречаются в кухне.

А сейчас я услышал, как она с жаром сказала маме:

– Право же, миссис Лекки, я очень обеспокоена. Ведь она ничем не интересуется. Вот если бы нам удалось заставить ее взяться, скажем, за мандолину... или хотя бы за банджо...

Хоть новость и не такая уж важная, но я все-таки бегу к дедушке поделиться ею:

– Дедушка, дедушка! Кейт будет учиться на банджо.

Он смотрит на меня, и легкая ироническая улыбка кривит его губы под рыжеватыми усами.

– Боюсь, мой мальчик, что этот инструмент мало ей поможет.

Ничего не понимая, я таращу на него глаза: наверно, он считает, что Кейт надо учиться играть на пианино, которое стоит в гостиной, – концертный инструмент фирмы братьев Мак-Киллоп, с прямой, оправленной в металл декой. Как бы то ни было, я тряхнул головой и стремглав выскочил из комнаты – просто чтобы побегать. Я бегаю с поручениями, которые мне дают все кому не лень, – даже миссис Босомли; когда, выполнив поручение, я возвращаюсь к ней, она награждает меня улыбкой перезрелой красавицы и бутербродом с консервами, при одном виде которого у меня буквально слюнки текут. Забыв о том, что положение мое шаткое, что я пасынок, которого едва замечают, и что я стою на краю неведомого, я счастлив... счастлив оттого, что люблю Гэвина и он любит меня.

Наконец настало время, когда мы с Гэвином стали прочесывать нагорье; это были настоящие экспедиции, по сравнению с которыми мои прежние вылазки с дедушкой казались детской забавой. Гэвин без усталости, со всею страстностью своей натуры, искал то единственное, чего не доставало его коллекции, – яйцо золотистой ржанки, самой редкой из водящихся в Уинтоне птиц. И все-таки, пока мы шли по лесистому предгорью в поисках желанной добычи, у него хватало терпения еще и учить меня: он показывал, как находить в самых потаенных и неожиданных местах гнезда обычных птиц, – раздвинет ветки боярышника и с самым спокойным видом тихонько скажет: «Гнездо желтоносого дрозда. Целых пять штук». Я нагибался и загоревшимися глазами рассматривал аккуратную чашечку из грязи вперемешку с соломой, где лежали еще теплые, хрупкие, в голубую крапинку яйца. Научил он меня и деликатному искусству «выдувания» содержимого из яиц. И заставил поклясться клятвой лесничих никогда не брать из гнезд больше одного яйца; побледнев от гнева, рассказывал он мне о мальчиках, кото-

рые «опустошают» гнезда – ведь птица-мать после этого вынуждена «перекочевывать» в другое место.

Так добрались мы до Драмбакских гор. Казалось, мы вступили в новую страну, где лицо обдувал прохладный и приятный, как родниковая вода, ветерок. Под нами раскинулась широкая панорама привольного края, перетянутого тесемочками белых дорог и перерезанного устьем Клайда, – река казалась отсюда широкой блестящей серебряной полосой с крошечными судами на ней. Ливенфорд, благодарение богу, был скрыт от нас дымкой, из которой выступал лишь круглый купол замка Рока. Далеко-далеко, у самых наших ног, прилепились игрушечные домики Драмбакской деревушки. Зеленые холмы уходили волнами на запад – окидывая их взглядом, я вдруг испуганно вздрогнул: высоко в небе над быстро бегущими белыми облаками торчал огромный острый синий пик.

– Смотри, Гэвин, смотри! – пронзительно закричал я, подбежав к нему и указывая на гору.

Он важно кивнул.

– Это Бен!

Я мог бы всю жизнь стоять так и смотреть на нее, но Гэвин потянул меня дальше. Мы миновали беленькую ферму, приютившуюся у поросшего вереском холма; она стояла в окружении надворных построек и хлева. Во дворе пахло навозом, у заднего крыльца росла высокая, уже багряно-желтая ракета. Мы пошли по угольям фермы; над самой нашей головой кружили вальдшнепы, в огненно-красных дроках жужжали пчелы, на полях в тени лежали коровы, повернув головы в одном направлении, и, еле двигая челюстями, лениво пережевывали свою жвачку; они искоса поглядывали на нас своими огромными влажными глазами и только слегка поводили ушами, отгоняя мух.

Но вот кончились поля, и мы начали карабкаться вверх, забираясь все выше и выше.

Поросшее вереском болото, куда привел меня Гэвин, было чуть ли не на небе – романтическое, дикое место, где прямо из топи торчали островерхие глыбы известняка. Мы продвигались вперед нагнувшись, внимательно вглядываясь в заросли багряного ятрышника и влажного болотного мирта, и нам казалось, что мы играем в прятки с мохнатыми облаками, проносившимися по синему небу над самой нашей головой. Гэвин то и дело останавливался и молча указывал мне на какую-нибудь диковинку: росянку – растение, которое опутывает и поглощает насекомых; белоснежную медвяную орхидею с необыкновенно сильным запахом. Раз перед нами переползла тропинка гадюка, но, прежде чем я успел вскрикнуть, Гэвин размозжил ей голову каблуком. После необычайно крутого подъема мы достигли Кряжа ветров, на вершине которого была площадка, и тут расположились перекусить.

Целый месяц Гэвин упорно, с присущим ему умением, искал яйца золотистой ржанки, но – безуспешно. Как-то раз, вконец обескураженные, возвращались мы из самой дальней нашей экспедиции. По пути нам попалось заросшее тростником болото, и я задержался возле него. Меня почему-то влекло к этим топям в горах, где в мутной воде кипела суетливая жизнь. Я нагнулся, чтобы набрать в пригоршню головастика. И тут – такое бывает только во сне – взгляд мой упал прямо на солому, небрежно разбросанную по мху у самой воды. А на соломе этой лежало три яйца, больших, зеленовато-золотистых, с багряными пятнами.

Я так закричал, что Гэвин, казавшийся отсюда крошечной фигуркой на фоне неба, сразу остановился. Хоть он и очень устал, однако, увидев, что я отчаянно машу руками, припелся ко мне. Ни слова не говоря, я указал ему на мох. Мне не было видно его лица, но по тому, как он вдруг оцепенел, я понял, что мы наконец нашли гнездо.

– Оно самое. – Проваливаясь по колено, Гэвин добрался до гнезда и вернулся с яйцом. Мы присели у края болота, и Гэвин тихонько, с величайшей осторожностью опустил яйцо в воду, чтобы убедиться, что это болтун; затем выдул из яйца содержимое и положил скорлупку мне на руку. – Ну вот. Красивое, правда?

– Изумительное. – Я был вне себя от радости. – Я так рад, что мы наконец его нашли. – Вдоволь налюбовавшись на свою находку, я протянул ее Гэвину. – Держи, Гэвин.

– Нет. – Он посмотрел на оставшиеся в гнезде яйца, которые, я знал, он ни за что не возьмет. – Оно твое, а не мое.

– Не надо, Гэвин! Ведь оно же твое.

– Нет, твое, – самоотверженно настаивал он. – Ты нашел его, ты и храни.

– Да я никогда бы не нашел его, если б не ты, – уговаривал я его. – Оно твое – твое, и только.

– Твое, – слабо возразил он.

– Твое! – крикнул я.

– Твое, – пробормотал он.

– Твое, – чуть не плача, сказал я.

Мы отчаянно препирались до тех пор, пока наконец, уже сдаваясь, я не выпалил всю правду:

– Слушай, Гэвин, поверь мне. Яйцо это чудесное. Но мне оно не нужно. У меня ведь нет коллекции, а у тебя есть. По-настоящему меня интересуют только лягушки, головастики, стрекозы и тому подобное. И если ты не возьмешь сейчас это яйцо, клянусь, я... я... я выброшу его.

Эта страшная угроза наконец убедила Гэвина. Он повернулся и посмотрел на меня – серые глаза его светились восторгом, а голос, когда он заговорил, дрожал:

– Тогда я возьму его, Роби. Но только в обмен на что-нибудь, а иначе это будет несправедливо. Я тебе дам что-нибудь вместо него... дам такое, что, я знаю, тебе нравится.

Он обернул драгоценное яйцо в шерстяную вату и положил в коробочку, куда складывал то, что находил для своей коллекции, а сам улыбнулся мне из-под приспущенных ресниц застенчивой, несколько печальной улыбкой, которая наполнила счастьем мое сердце.

В тот же вечер я вышел из его комнаты с единственным предметом, на который с воодушевлением взирал, после того как Гэвин научил меня им пользоваться. Это был старинный медный составной микроскоп, некогда принадлежавший его сестре Джулии, которая в юности занималась естественными науками в Уинтонском колледже. Микроскоп был простого устройства, но все-таки в нем имелось два окуляра и два объектива, да и линзы, хоть и закрепленные неподвижно, были сделаны первоклассной фирмой – мэр любил, чтобы все, вплоть до мелочей, было у него самое лучшее. Вместе с инструментом мне было вручено несколько простейших предметных стекол и заплесневелая книга с пожелтевшими страницами, первая глава которой называлась «Что можно увидеть в капле воды», а вторая – «Строение крыла мухи».

Я установил прибор на столе в дедушкиной комнате и принялся не торопясь рассматривать предметные стекла одно за другим, а дедушка украдкой наблюдал за мной. С тех пор как мы подружились с Гэвином, он слегка охладил ко мне. Надо сказать, никто не обладал такой способностью «дуться», как дедушка. Мне кажется, что в душе он одобрял мои вылазки в горы, но поскольку он не принимал в них участия, то делал вид, что относится к ним с презрительным неодобрением. Однако на этот раз любопытство взяло в нем верх.

– Что это еще за новомодная ерундовина у тебя, Роберт?

То, что он назвал меня полным именем, указывало на далеко не милостивое ко мне отношение. Я с увлечением принялся объяснять, и вскоре он уже сидел рядом со мной, приложив глаз к таинственной трубке и путая винты, однако делал вид, будто прекрасно знаком с прибором. Занятие это явно увлекло его, и, когда я заглянул к нему после ужина, он по-прежнему сидел, не отрываясь от объектива, всецело поглощенный своими наблюдениями.

– Силы небесные! – воскликнул он. – Ты видишь эту мерзость в сыре?

Так началась для дедушки и меня эра удивительных открытий, когда мы на крыльях воображения устремлялись в неведомое. Вскоре мы исчерпали все содержимое потрепанного

учебника мисс Джулии Блейр, и тогда дедушка, словно новоявленный Гексли, отправился в общественную читальню и принес более солидные труды: «Элементарную биологию» Брука, «Живые водяные растения» Стида и самую замечательную из всех книгу Гранта «Жизнь в прудах» с тридцатью красочными рисунками. Днем, пока я был в школе, дедушка рыскал по окрестным лужам со стоячей водой, а вечером, окончив уроки, я садился с ним рядом, и мы сравнивали существа, копошившиеся под нашими магическими линзами, с рисунками в книжке. Можете представить себе, в какое мы пришли волнение, когда опознали медлительную амебу или когда, словно зачарованные, смотрели на вертящегося, точно волчок, микроба. Учтите, что мне не было и девяти лет и я еще не знал толком таблицы умножения. О, как пьянили меня чудеса этой незнакомой мне жизни: птенцы, вытягивающие в гнездах шейки и требующие пищи; жеребенок, стоящий в поле за орешником; ягнята, блеющие возле овец на пастбищах фермы Снодди. В моих книжках есть слово, о смысле которого я мог лишь догадываться; слово это – «размножение»: одни крошечные существа размножаются путем простого деления, другие – в результате более сложного процесса слияния. Я смутно чувствую, что стою на пороге большого открытия. Кто же сорвет для меня завесу с этой тайны? Пожалуй, из всех известных мне людей это, скорее всего, может сделать Берти Джемисон. Гэвин на неделю уехал в Ласс; его всемогущий папаша спокойно забрал его из школы, чтобы вместе половить лососей, поднимающихся весной вверх по Лоху. Каждый вечер я возвращаюсь домой с Джемисоном и его друзьями, но неподалеку от его дома, близ Драмбак-Толла, они прощаются со мной: говорят, что я «еще слишком маленький», чтобы идти с ними, и исчезают в прачечной, дверь которой тотчас запирают на ключ, а окно закрывают ставнем. Опечаленный, стою я на улице; в темном доме слышна какая-то возня, хихиканье. А однажды, когда вся компания вышла наконец оттуда со смущенным видом, Берти сказал мне, что в порядке величайшего одолжения мне разрешено будет сопровождать их завтра вечером.

Я в восторге. Когда мы с дедушкой усаживаемся за микроскоп, я сообщаю ему об этом.

– Что?! – Он вскакивает, опрокидывая драгоценный прибор, и со всей силой хватается кулаком по столу. – Ты не пойдешь в эту прачечную. Только через мой труп. Никогда, никогда!

На следующий вечер, выйдя из школы, я вижу поджидающего меня дедушку. Он берет меня за руку и, когда Джемисон пробегает мимо, дает несчастному малому такую затрещину, что тот еле удерживается на ногах. Дедушка в ярости тащит меня за собой, а я невольно думаю о том, как странны и невероятны проявления весны.

Глава 9

А весна тем временем все больше и больше вступает в свои права.

От Драмбакской дороги ответвлялась коротенькая неприметная улочка с маленькими домишками, заканчивавшаяся тупиком; именовалась она малопривлекательно – Свалочная – и была не слишком желанным соседством для чистенькой аристократической улицы, где жили именитые люди и чины города, начиная от мэра, станционного смотрителя и начальника пожарной команды и кончая районным санитарным инспектором Лекки. На Свалочной ютились мастера и механики, которые выполняли «грязную работу» на Котельном заводе и тем самым набрасывали известную тень на своих благородных соседей. К счастью, никто не видел их в пять часов утра, когда заводской гудок поднимал их с постели, но в обеденное время и вечером их кованые ботинки нарушали своим стуком тишину чистеньких улиц, а их грязные куртки и перепачканные маслом руки и лица выглядели на редкость неуместно рядом, скажем, с белой форменной фуражкой и блестящими медными пуговицами мистера Лекки.

Это были смирные люди, ибо труд их был тяжел, и развлечения, которые они себе позволяли, быть может, потому, что получали за свою работу сравнительно большое вознаграждение, были самые безобидные. Каждую субботу, надев пестрые клетчатые кепки, они вливались

в толпу, радостно направлявшуюся к парку Богхед, прибежищу местной футбольной команды. А иной раз, нарядившись в лучшее свое платье, они ехали на поезде в Уинтон выпить чаю с пирожками или провести вечер во «Дворце варьете». Погожими воскресными вечерами они чинно гуляли небольшими группами по проселочным дорогам, и кто-нибудь из них искусно наигрывал на концертино или губной гармошке. В первые дни моего пребывания в «Ломонд Вью», когда я лежал в постели, не в силах заснуть из-за темноты и хриплого дыхания бабушки, до меня нередко вдруг доносился запах дыма от сигареты, обрывок веселой шуточной песенки, и на душе у меня становилось легко, я улыбался, хоть этого никто и не видел: теперь я был уверен, что в мире все по-прежнему благополучно.

Так вот, среди этих рабочих был один по имени Джейми Нигг, который с некоторых пор стал явно выказывать мне знаки внимания. Это был приземистый широкоплечий парень лет тридцати, с нескладными длинными руками и огромными печальными глазами. С необычайной прозорливостью я догадался, что печалится он из-за своих ног, на редкость кривых – они образовывали идеальный овал, сквозь который виден был божий мир, и хотя Джейми всячески старался ходить так, чтобы по возможности скрыть это, недостаток его был столь очевиден, что мог разжалобить самое твердокаменное сердце. После обеда, когда я бежал обратно в школу, кривоногий слесарь частенько меня останавливал и, поглядывая на меня испытующим взглядом доброй собаки, медленно потирал подбородок мозолистой рукой – хотя брился он каждый день, щеки и подбородок его так быстро зарастали, что были всегда с синеватым отливом.

- Ну, как живем?
- Отлично, благодарю вас, Джейми.
- Дома все в порядке?
- Да, благодарю вас, Джейми.
- Мистер Лекки и все домашние здоровы?
- Да, Джейми.
- У Мэрдока скоро экзамен?
- Совершенно верно, Джейми.
- А бабушка еще не приехала?
- Нет еще, Джейми.
- Я видел твоего дедушку на лугу в прошлое воскресенье.
- Правда, Джейми?
- Он хорошо выглядит.
- Да, Джейми.
- Ну и денек сегодня – замечательный.
- Очень даже, Джейми.

На этом разговор прерывался. Пауза. Затем Джейми лез в карман, извлекал из него пенни и все с тем же серьезным видом вручал мне монету, сопровождая свой дар старой ливенфордской шуткой: «Смотри не оставь все в одной лавке». Я подпрыгивал и, зажав в руке монету, мчался дальше, а кривоножка кричал мне вслед:

- Мое почтение всем домашним!

Сколь ни было это маловероятно, я приписывал великодушие Джейми тому, что он, подобно мэру и мисс Джулии Блейр, а также многим другим горожанам, проявлявшим особую доброту ко мне, знал мою мать. Фраза: «Я знал твою маму» – точно рефрен в музыке, нередко звучала в мои детские годы таким грустным и в то же время согревающим душу повтором, неизменно успокаивая меня и придавая веру в неизбывную доброту людей и жизни.

Но обычно я слишком торопился в лавочку Тибби Минз, к ее зеленым стеклянным банкам со сладостями в розовую полоску, и у меня не было времени размышлять над причиной такого интереса Джейми ко мне. Урок, который преподавал мне Адам, пообещав полсоверена, породил во мне какое-то смутное недоверие: если я сразу не истрачу свой пенни, кто-нибудь

непременно обнаружит монету или она выпадет у меня из брюк, когда я буду снимать их вечером, и покатится по блестящему линолеуму прямо к папе, а он нагнется и поднимет ее с самым благим намерением «приберечь» для меня. А кроме того, мое тело – тело молодого недоедающего зверька – требовало сахара. Обитатели полей и лесов могут умереть с голоду среди кажущегося изобилия, если они лишены каких-то веществ – пусть самых простых и незначительных на первый взгляд. И сейчас, вспоминая, как сосало у меня в детстве под ложечкой даже после обеда и как мне все время приходилось подавлять муки голода, мне кажется, что я тоже мог бы помереть, если бы сласти мисс Минз не поддерживали меня.

В последнюю субботу мая мы с Джейми встретились уже не случайно: он поджидал меня на углу Свалочной, «разряженный в пух и прах» – в синем костюме, желтых ботинках и красной с черным клетчатой кепке.

– Хочешь пойти со мной на футбол?

Сердце у меня так и подпрыгнуло, и сразу весь день, казавшийся мне дотоле пустым и безразличным – ведь Гэвин со своим отцом по-прежнему был в Лассе, – озарился радостью. Пойти на футбол! Увидеть, как играют взрослые, – я никогда этого не видел и не надеялся увидеть!

– Ну, так, значит, пошли, – сказал Джейми Нигт и зашагал, загребая желтыми ботинками.

Прижавшись животом к канату, ограждавшему площадку в парке Богхед, я стоял рядом с Джейми и группой его друзей и кричал до хрипоты, глядя, как люди в разноцветных футболках, сталкиваясь, бегают по зеленому полю. Ливенфорд играл сегодня против своего самого ненавистного соперника – клуба соседнего городка Ардфиллана. Мир не видывал таких хитрецов, грубиянов и убийц, как эти парни из Ардфиллана, которых в насмешку называли «джемоглоты»: надо же быть такими подонками, чтобы разрешать мальчишкам посещать их игры за банки из-под джема, которые клуб затем продавал местному складу утиля! Но, благодарение богу, справедливость восторжествовала! Ливенфорд победил!

После состязания мы с Джейми направились домой, как два добрых приятеля; когда, все еще разгоряченные и взволнованные, мы дошли до развилки, где пути наши расходились, Джейми вдруг извлек из-за пазухи пакет, немало обременявший его весь день.

– Передай это вашей Кейт, – почему-то хрипло сказал он, краснея до корней волос. – От меня.

Ничего не понимая, я уставился на него. Кейт?! «Нашей» Кейт! Но какое же она имеет отношение к чудесной дружбе, которая установилась между мной и Джейми?

– Да, да, Кейт. – Джейми еще больше покраснел. – Отнеси это к ней в комнату.

Он повернулся и зашагал прочь, а я так и остался стоять с пакетом в руках.

Когда я пришел в «Ломонд Вью», Кейт нигде не было видно, один только Мэрдок сидел над книгами в кухне и, вздыхая, бубнил что-то; тогда, послушный приказаниям Джейми, я отнес большой продолговатый пакет в спальню Кейт и положил его к ней на комод. До сих пор я бывал в комнате Кейт, только когда она меня звала, и сейчас любопытство, а также сознание, что, как посланец, я нахожусь в особом положении, побудили меня задержаться. У зеркала я увидел две-три бутылочки с притираниями и баночку с кремом. Тут же лежало несколько книжек в бумажных переплетах. Я взял их и посмотрел названия: «Как поддерживать красоту лица без обезображивающих вмешательств»; «Метод госпожи Болсвер, или Как за двенадцать приемов развить бюст». Затем шла книжка с таинственным, но интригующим названием: «Девушки! Не будьте синим чулком!» Я уже собрался заняться более углубленным ее исследованием, как вдруг дверь распахнулась и в комнату вошла Кейт.

Ее прыщавое лицо вспыхнуло от гнева. На лбу сразу отчетливо обозначились шишки. Меня спасла лишь собственная смекалка.

– Знаешь, Кейт, – воскликнул я, – а у меня кое-что для тебя есть! Сюрприз.

Она остановилась – уши ее горели, глаза зло поблескивали.

– Что это еще за сюрприз? – подозрительно спросила она.

– Подарок, Кейт! – И я указал на пакет, лежавший на комод.

Она недоверчиво взглянула и, ворчливо буркнув: «Запомни, Роберт, никогда, никогда не смей без стука входить в спальню к даме», подошла к комоду, взяла пакет, села с ним на постель и принялась разворачивать. Я жадно наблюдал за ней. Вот снята последняя бумажка и оказалась красивая коробка, перевязанная лентами, а в ней целых три фунта дорогого шоколада. Могу ручаться, что Кейт никогда в жизни не получала такого чудесного подарка. Я поздравил ее и с видом сообщника склонился над коробкой.

– Посмотри, какие замечательные конфеты, Кейт! Это тебе от Джейми. Он сегодня водил меня на футбол. Ты ведь знаешь Джейми Нигга.

На лицо Кейт стоило посмотреть – такая на нем была странная смесь удовольствия, изумления и разочарования. И довольно высокомерно она сказала:

– Ах вот это от кого! Придется вернуть.

– Ну что ты, Кейт. Это обидит Джейми. К тому же... – И я проглотил слюну.

Кейт невольно улыбнулась, а когда она улыбалась, то даже такая мимолетная сдержанная улыбка делала ее удивительно приятной.

– Ну хорошо. Можешь взять себе конфетку. Но я до них не дотронусь.

Я не стал ждать и, воспользовавшись разрешением, надкусил шоколадку, из которой потек сладкий оранжевый крем, и во рту у меня чудесно запахло.

– Вкусно? – спросила Кейт и в свою очередь как-то странно глотнула.

Я пробормотал нечто нечленораздельное.

– Если бы их прислал кто угодно, только не Джейми Нигг! – воскликнула Кейт.

– Почему? – спросил я, как и подобало преданному другу. – Джейми самый замечательный парень на свете. Ты бы посмотрела на него, когда он был со своими приятелями на футболе. Он ведь знаком с центром нападения ливенфордской команды.

– Но он простой рабочий, всего лишь слесарь. И работа у него такая грязная. К тому же, говорят, он прикладывается.

Поняв, что речь идет о виски, я, как верный друг, привел слова бабушки:

– Это не такой уж большой недостаток, Кейт.

– И потом еще... – Кейт смутилась и снова покраснела. – Его ноги.

– А ты не обращай внимания на его ноги, Кейт, – уговаривал я ее.

– Ноги слишком важная часть тела, чтобы не обращать на них внимания. Особенно когда прогуливаешься на людях.

Я в ужасе умолк.

– Ты любишь кого-нибудь другого, Кейт?

– Мм... да... – Кейт мечтательно устремила взор в романтическую даль поверх брошюры «Не будьте синим чулком!», а я не замедлил воспользоваться этим и взял еще одну шоколадку.

– Конечно, у меня была уйма предложений, во всяком случае несколько, ну, скажем, два-три – не буду хвастаться. Но ведь речь идет об идеале. Вот если б за меня посватался человек солидный, воспитанный, разговорчивый и к тому же брюнет... вроде пастора Спрула, например.

Я в изумлении уставился на Кейт: пастор-то был ведь пожилой, с животиком, поэтической шевелюрой, громовым басом и четырьмя детьми.

– Ох, Кейт, а я бы не задумываясь предпочел Джейми... – вырвалось у меня, и я сразу вспыхнул, понимая, что из всей семьи я меньше всех могу критиковать ее исповедника.

– Ничего, ничего, – заверила меня Кейт, поняв причину моего смущения. – Возьми еще шоколадку. Ешь, ешь, не смотри на меня, я ни за что не прикоснусь к этим конфетам. И вообще,

знаешь ли, любовь внушает мне отвращение. Да, отвращение. Женщине всегда приходится за нее расплачиваться. Эта шоколадка с твердой или с мягкой начинкой?

– С твердой, Кейт, – поспешил ответить я. – Чудесная нуга – ты такой никогда в жизни не пробовала. Посмотри, вон тут еще такая лежит. Ну ради меня, возьми ее, пожалуйста.

– Нет, нет, я и думать об этом не хочу. – Продолжая протестовать, Кейт как бы нечаянно взяла нугу, которую я усиленно совал ей, и, словно передумав, положила в рот.

– Ну скажи, Кейт, разве конфеты не замечательные? – допытывался я.

– Ни одному мужчине не купить меня, Роберт. А конфеты, надо сказать, действительно вкусные.

– Возьми еще, Кейт.

– Я, конечно, знаю, что мне от них потом будет плохо. Но если ты так настаиваешь... Найди-ка мне такую же, какую ты ел в самом начале, – с апельсиновым кремом.

И так, сидя у нее на кровати, мы за последующие полчаса умяли весь верхний ряд коробки.

– Ну так что же мне сказать Джейми? – спросил я наконец.

Кейт аккуратно перевязала коробку розовой ленточкой и вдруг расхохоталась. Как дико звучит самый обыкновенный смех, если он исходит от такой странной, мрачной, раздражительной девушки.

– Какие мы с тобой оба притворы, Роби. Во всяком случае, я. Едим сласти, которые стоили бедному малому кучу денег, и еще критикуем его. Так что ты скажи ему правду. Скажи, что нам очень понравился шоколад. Поблаговари его как следует. И чтобы больше этого не было.

Я кинулся вниз, перепрыгивая через три ступеньки, преисполненный решимости передать Джейми по крайней мере первую часть того, что сказала Кейт.

Глава 10

Настал июль, а с ним летние каникулы и дни, овеваемые жарким ветром, колыхавшим зреющую кукурузу. Мы с Гэвином бегали босиком за поливочной машиной по дорогам драмбакской деревушки, покрытым еще теплой, только что прибитой водой пылью. Мы взбирались с ним на самую высокую вершину Гаршейк-хилла и собирали там чернику, которую мама с благодарностью принимала, а потом делала из нее джем, куда более вкусный, чем наше обычное варенье из ревеня. Мы купались у мельничной запруды; там, разрезая руками прохладную воду, я сделал свой первый заплыв через самое глубокое место, а потом подставил голову под маленький водопадик, и вода попадала мне в рот, в нос, а вокруг моих ног, взвываясь с песчаного дна, стайками кружились пескари. От восторга я звонко, возбужденно рассмеялся. До чего же хороша холодная вода! Она словно смывала последние следы печали с моей души. Мы вылезли на берег и принялись прыгать, плясать, потом бросились на траву и, замирая от наслаждения, залюбовались ярко-синим небом. Какая радость! Чистый, мягкий, теплый воздух, яркий свет, зелень деревьев, и силы пробуждаются во мне – радость жизни, величайшая радость бытия!

Я был счастлив, безмерно счастлив этой языческой жизнью. Ветер, напоенный ароматом вереска, выветрил Бога из моей головы: открытки, которые присылала мне бабушка, я едва достаивал внимания; я больше не бросал вызов нечистому выйти из какого-нибудь темного угла, а сразу засыпал, едва успев пробормотать самую короткую молитву. Да, я отвернулся от Бога. И небо готовило мне новые испытания.

Прежде всего пришло известие о том, что мне предстоит вновь расстаться с Гэвином. Каждое лето его отец снимал в Пертшире домик с небольшим заболоченным участком, где можно было поудить рыбу и поохотиться, – еще одна роскошь, за которую впоследствии обру-

шат хулу на голову этого олимпийского божества! – и Гэвин, конечно, проводил там летние каникулы среди багряно-красного вереска и синих далеких гор.

Мисс Джулия Блейр не раз более чем прозрачно намекала на то, что я мог бы поехать с ним, но мой жалкий гардероб, стоимость железнодорожного билета и другие соображения, напоминающие о суровой действительности, заставили эту добрую душу умолкнуть. Мы с Гэвином попрощались на вокзале; глаза наши при этом подозрительно блеснули, а руки сплелись в пожатии, крепком как сталь, которым мы, по-особому перекрестив большие пальцы, как бы скрепляли нашу дружбу на веки вечные.

Затем, когда я возвращался домой по Главной улице, на меня свалилась другая неожиданность – точно гром ударил среди ясного неба, и на пути моем внезапно выросло препятствие. Я посмотрел вверх и, содрогнувшись от несказанного ужаса, увидел перед собой высокую черную фигуру каноника Роша, который, опираясь на огромный зонтик, пронзал меня темным немигающим взглядом василиска, – в такой же ужас повергаю я, наверно, крошечную мошку, попавшую под мой микроскоп.

Каноник был одним из самых примечательных людей в городе, однако до сих пор мне ловко удавалось избегать встреч с ним. Он был молодой – самый молодой каноник в епархии. Лицо у него было тонкое, с горбатым носом и высоким лбом, говорившим об уме, наличие которого более чем достаточно подтверждало успешное окончание особого колледжа в Риме. Он получил весьма запущенный приход церкви Святых ангелов с паствой, которую трудно было держать в узде, поскольку состояла она из нескольких национальностей: тут были и поляки, и литовцы, и словаки, и ирландцы, которые в разное время переселились в город, привлеченные возможностью получить работу и хорошими заработками на Котельном заводе. Каноник быстро смекнул, что существует только одно оружие, с помощью которого можно держать в повиновении этих непокорных, темных прихожан. И он, не раздумывая, решил им воспользоваться. С суровостью, отнюдь не свойственной его натуре, он метал громы и молнии с высоты своей кафедры, допекал свою паству насмешкой на паперти, останавливал прихожан на улице и отчитывал при всех. За год он привел к повиновению своих прихожан, заслужил расположение братьев Маршалл, владельцев завода, и завоевал уважение, которое выражала ему, правда сквозь зубы, наиболее либеральная часть городских властей, – дело весьма нелегкое в маленьком шотландском городке, где католиков ненавидели и презирали. Как ни удивительно, он сумел внушить своим прихожанам не только трепет, но и восхищение. Ужас, ей-богу, священный ужас вселял в вас этот каноник, да благословит и да изничтожит его Господь!

Ничего нет поэтому удивительного, что, хотя тон его на сей раз и был мягок, я задрожал от одного сознания, что такой человек подошел именно ко мне.

– Ты Роберт Шеннон, не так ли?

– Да, отец.

И как у меня вырвалось это «отец» – ведь я выдал себя. Он слегка улыбнулся.

– И ты, конечно, католик?

– Да, отец.

Он принялся складывать свой широкий зонт.

– Я получил письмо насчет тебя от одного коллеги из Дублина... отца Шенли... Он просил разыскать тебя. – Каноник кинул на меня быстрый взгляд. – Ты, конечно, ходишь к мессе по воскресеньям?

Я потупился. Я ведь уже немало выстрадал от своей приверженности Римско-католической церкви: на моем челе была ее мета, но здесь, в Ливенфорде, я был одинок и слишком застенчив, чтобы отважиться посетить ее храм.

– Ага! – Сколько хлопот доставляет ему этот зонтик! – Ты, конечно, уже принял первое причастие?

– Нет, отец.

– Но уж первая-то исповедь у тебя, во всяком случае, была.

Болезнь моих родителей помешала мне в свое время выполнить это величайшее из обязательств, и сейчас мне было так стыдно, что я был бы рад сквозь землю провалиться.

– Нет, отец.

– Вот как. Печальное упущение для молодого человека, носящего фамилию Шеннон. Надо это исправить, Роберт. Мигом исправить, надеюсь, ты простишь мне это выражение, которое ты, конечно, тоже никогда не назовешь остроумным, и уж скорее оно пристало пастырю Епископальной церкви, чем мне, недостойному!

Почему он улыбается? Почему не мечет громы и молнии? А у меня глаза были на мокром месте: надо же, Гэвин уехал и теперь еще это стряслось! К тому же я сознавал, что прохожие, особенно многочисленные в это обеденное время, с любопытством поглядывают на нас. Скоро молва о нашей встрече распространится по всему городу, товарищи по школе снова отвернутся от меня, да и в «Ломонд Вью» все пойдет кувырком.

– С будущего месяца у нас в монастыре начнутся беседы с теми, кто готовится к первому причастию. По вторникам и четвергам после четырех часов дня. Это, право, очень удобно. Вести занятия будет мать Элизабет-Джозефина... Я думаю, она тебе понравится, если ты придешь. – Он с улыбкой посмотрел на меня своими строгими черными глазами. – Ну так как же, Роберт, придешь?

– Да, отец, – пробормотал я, с трудом шевеля непослушными губами.

– Вот умница. – Наконец он оставил свой зонтик в покое, хотя так и не сумел толком свернуть его. Во всяком случае, теперь каноник благосклонно поглядывал на меня и, поучая, вертел зонтиком то в одну сторону, то в другую. Завершил он свое краткое поучение следующим советом: – Еще одно, Роберт, и очень важное, хотя тебе это и нелегко будет выполнить, поскольку ты живешь с родными, не принадлежащими к нашей Католической церкви. Не ешь мясо по пятницам. Это строжайше запрещено Церковью. Так что запомни... ни кусочка мяса по пятницам. – Он в последний раз посмотрел на меня своими суровыми и в то же время добрыми глазами и ушел.

А я поплелся в противоположном направлении, все еще потрясенный этой злополучной встречей. Я был уничтожен, пойман и осужден за мои преступления. Яркий сверкающий день словно померк. Но ни секунды я не думал о том, что могу послушаться каноника. Нет, нет, теперь он будет следить за мной; слишком уж он близко – он может возникнуть предо мной в любую минуту во всем величии своей духовной и мирской власти – и слишком он страшен, чтобы можно было ему не повиноваться. В один миг точно ураганом смело все то, что так тщательно возделывала бабушка в винограднике моей души. Проклятье, тяготеющее надо мной с рождения, наконец обрушилось на меня. Мне оставалось лишь страдать и покоряться.

Я как раз подходил к черному ходу «Ломонд Вью», когда неожиданная мысль поразила меня и на лбу выступил холодный пот. Ведь сегодня – именно сегодня – пятница. А в воздухе пахло моим любимым блюдом – тушеным мясом. Я застонал. Великий Боже и каноник Рош! Что же мне делать?

Я нерешительно вошел в кухню и занял свое место у стола, за которым уже сидели Кейт и Мэрдок. Ну конечно, как я и опасался, мама поставила передо мной тарелку с тушеной говядиной; порция была почему-то куда больше обычной, да и мясо, судя по запаху, было куда вкуснее. Я смотрел на него обезумевшим взором.

– Мама, – еле слышно сказал я наконец. – Мне сегодня что-то не хочется жаркого.

Все тотчас в изумлении уставились на меня, а мама окинула недоверчивым взглядом.

– Ты что, болен?

– Право, не знаю. Немножко голова болит.

– Тогда съешь картофеля с подливкой.

Мясная подливка... но ведь она тоже запрещена. Я кисло улыбнулся и покачал головой.

– Я, пожалуй, лучше вообще ничего не буду есть.

Мама сокрушенно причмокнула – она всегда так делала, когда в чем-то не была уверена. Прежде чем отпустить меня в школу, где последние дни еще шли занятия, она дала мне ложку микстуры Грегори. А я, когда проходил мимо чуланчика за кухней, умудрился сунуть в карман брюк кусочек хлеба, который с жадностью и съел по дороге в школу. И все-таки весь день в животе у меня были рези от голода.

Вечером, когда семейство собралось за столом, мама, желая полакомить меня, из самых благих побуждений любезно положила передо мной кусочек студня, лежавшего на тарелке мистера Лекки, – в то время ему к ужину всегда подавали какое-нибудь «чудо кулинарии», как он это называл. Мама, словно извиняясь, посмотрела на остальных и сказала:

– Роберту ведь нездоровилось сегодня.

Душа у меня так и перевернулась. Остекленелым взглядом смотрел я на нежные кусочки мяса, проглядывавшие сквозь прозрачное желе. Почему же я не сказал правды? Ох, нет, нет, тысячу раз нет. Я просто не мог этого сделать. Непонятная и трагическая история моей принадлежности к Римско-католической церкви была слишком мучительна, чтобы напоминать о ней в этой семье. Она была забыта, похоронена. И заговорить о ней значило бы навлечь на свою голову всеобщий гнев и беду, равную разве что опустошению, произведенному Самсоном на картине в бабушкиной комнате. Да при одной мысли о том, какое лицо будет у папы...

И все-таки именно он спас меня тогда.

– Малый наелся зеленого крыжовника, – буркнул он вдруг. – Пусть пораньше ляжет в постель. – И он переложил студень с моей тарелки обратно на свою.

А я и близко не подходил к его незрелому крыжовнику. Но я обрадовался этому несправедливому приговору и без ужина отправился в свой маленький закуток за занавеской.

В воскресенье, когда все семейство еще спало, я пробрался потихоньку через погруженную в сумрак переднюю и выскользнул на улицу, торопясь к семичасовой мессе: в церкви я сел позади всех и, когда мимо меня проходили с кружкой для пожертвований, закрыл лицо руками. Церковь была красивая – строил ее, как я впоследствии узнал, Пьюджин, – в простом готическом стиле; все в ней склоняло к молитве: и витражи, выполненные с большим вкусом, и белый высокий алтарь в глубине, и ряд воздушных арок, придававших величие нефу. Но в то утро, повторяя про себя псалмы, я не находил в них утешения. Когда каноник Рош взошел на кафедру, у меня от страха затряслись колени. А что, если он станет обличать меня, нечестивого отщепенца, у которого недостает храбрости постоять за свою веру. Какое счастье... он заговорил не обо мне! Однако то, о чем он объявил, не менее сильно смутило мой душевный покой. Со следующей недели начинался пост: среда, пятница и суббота объявлялись днями воздержания, в которые запрещалось есть скоромное; Господь будет безжалостен к тем слабым нечестивцам, которые посмеют в эти дни прикоснуться к мясу. Глубоко удрученный, ничего не видя, шел я домой и точно одержимый твердил про себя: «Среда, пятница и суббота». Оскорбить Бога, конечно, очень худо. И все-таки страх не перед Ним, а перед страшным каноником побуждал меня взяться за непосильное дело.

В среду мне повезло. Мама, озабоченная предстоящей стиркой, ничего не заподозрила, когда я еле слышно пробормотал, что не приду в обеденный перерыв домой – мне придется задержаться в школе, чтобы привести в порядок учебники; склонившись над баком, она рассеянно велела мне взять с собой несколько кусочков хлеба с джемом. Но в пятницу, когда я попытался прибегнуть к той же уловке, она приняла это иначе: нет, надо прийти домой и съесть горячий обед, безоговорочным тоном приказала она. На сей раз передо мной была поставлена тарелка с котлетой, после чего мама вышла из кухни с таким видом, который не предвещал ничего хорошего, в случае если по ее возвращении тарелка не будет пуста.

О боже, как я страдал! Ни один длиннородый еврей, перед которым инквизиция ставила жирный кусок свинины, не испытывал таких мучений, как я. В отчаянии посмотрел я на

Мэрдока, сидевшего напротив, – он молча жевал, с любопытством наблюдая за мной. Теперь он занимался дома, и, поскольку Кейт задерживалась из-за большого перерыва на обед в младших классах, только мы с ним и сидели за столом.

– Мэрдок! – шепотом произнес я. – У меня от этого мяса страшная изжога. – Я быстро схватил тарелку и переложил ему свою котлету.

Он вытаращил на меня глаза. Но аппетит у него был отменный, а потому он не стал возражать и лишь подозрительно заметил:

– Ты что-то последнее время настоящим вегетарианцем заделался.

Неужели он догадался? Трудно сказать. Дрожа всем телом, пригнувшись к самой тарелке, я съел картофель, тщательно избегая класть в рот тот, на который попали капельки жира.

На следующий день изобретательность моя иссякла. Голодный, упавший духом, я буквально ничего не мог придумать и, когда настал час обеда, просто не пошел в «Ломонд Вью» – не пошел, и все, а вместо этого отправился к порту и тупо бродил там, принюхиваясь, точно собака, к терпким запахам вара и нефти. Вечером я еле плелся домой – так я ослаб от голода. В животе у меня были такие рези, что я уже не думал о том, как я буду объяснять свое отсутствие маме. Я хотел есть, есть.

Проходя мимо дома миссис Босомли, я увидел ее у калитки; в руках у нее было несколько писем. Она попросила меня сбегать и опустить их в почтовый ящик, висевший на столбе. Какое там сбегать! Но как ты ни слаб, нельзя же отказать в услуге доброму другу. Я опустил ее письма в круглый красный ящик на углу Свалочной. На обратном пути она подозвала меня к раскрытому окошку. Глаза мои загорелись. Ну конечно, она протягивала мне обычную награду – огромный бутерброд с консервами на еще теплом поджаренном хлебе.

Спотыкаясь, я завернул за угол – к тому месту, где была колода для лошадей; в руках я держал толстый золотистый бутерброд, от одного запаха которого чуть не терял сознание. Присев на землю, я сплюнул слюну, так и струившуюся по моим крепким молодым зубам. И тут вдруг – о безжалостное небо! – вспомнил, что это консервы «Боврил». Мясо, настоящее мясо! На железнодорожном мосту висит рекламный плакат этой фирмы, на котором нарисован огромный бык, – значит, в каждой консервной банке есть какая-то частица этого быка.

Целую минуту, парализованный ужасом, смотрел я, не мигая, на быка – на это олицетворение всего мясного, этот повод к грехопадению, который я держал в своих детских руках. И вдруг с криком жадно набросился на мясо. Я вгрызался в него зубами, раздирал и уничтожал. До чего же было вкусно! Я забыл и про карающего ангела, и про каноника Роша. Нечестивыми губами всасывал я соленый мясной сок. От восторга я облизал даже пальцы. И когда все до последней крошки было съедено, я вздохнул глубоко, удовлетворенно, торжествуя.

И тотчас с ужасом осознал, что я наделал. Грех. Смертельный грех. Минута страшного оцепенения. Потом начались приступы раскаяния – один за другим. Темные глаза каноника сверкали передо мной. Я не мог больше этого выдержать. Разрыдался и побежал наверх к дедушке.

Глава 11

Когда я влетел к дедушке, он сидел, сощурившись, с ученым видом у микроскопа. В этой позе он и выслушал меня молча до конца. Я был только доволен, что он на меня не смотрит. Я вытер глаза и стал ждать, что будет дальше, а дедушка поднялся и принялся в своих рваных зеленых шлепанцах ходить из угла в угол. Возле него я почувствовал себя спокойнее. Как бы я хотел, чтобы он, а не каноник наставлял меня в моей вере.

– Ну вот что, мальчик, уладить дело с пятницами просто. Достаточно мне сказать два слова маме, и все будет в порядке. Но... – и радость моя сразу померкла, когда я увидел, как он покачал головой, – это только начало. Вопрос о твоём вероисповедании все равно дол-

жен был так или иначе возникнуть. Трудное у тебя здесь положение, ничего не скажешь... совсем один... Пренеприятное наследство оставила тебе твоя бедная мамочка... – Он помолчал, погладил бороду и как-то странно посмотрел на меня. – А может быть, проще всего присоединиться тебе к остальному семейству? То есть ходить с ними в церковь на Ноксхилле?

Сам не знаю почему, но из глаз моих брызнули горячие слезы.

– Ох нет, что ты, дедушка. Не могу я так. Человеку положено быть тем, чем он родился, даже если это и трудно...

Дедушка настаивал, доказывая, что зато я обрету все блага на свете.

– А как будет любить тебя бабушка, если ты будешь ходить в церковь на Ноксхилле. Ручаюсь, она для тебя тогда все, что хочешь, сделает.

– Нет, дедушка. Не могу я.

Непонятное молчание. Потом он улыбнулся мне – не безразлично, а так, как изредка улыбался, – неторопливой, согревающей душу улыбкой. Подошел и пожал мне руку.

– Молодец, Роби, умница!

Он старательно выбрал две мятные лепешки из того небольшого запаса, что хранился у него в жестяной коробочке, и сунул мне в руку. Мне непонятно было, чем я заслужил столь высокое одобрение. Он говорил мне «молодец, Роби» лишь в самых редких случаях, когда хотел выказать свою особую симпатию.

– Могу сказать тебе, что я на этот счет думаю. – Он тоже взял мятную лепешку и величественно расположился в кресле. – Я за свободу вероисповедания. Пусть человек верит во что хочет, лишь бы он не мешал мне верить, во что я хочу. Тебе, конечно, не понять этого, мой мальчик. Поэтому я скажу тебе лишь одно: если бы ты пошел в церковь на Ноксхилле, я бы в ту же минуту отрекся от тебя.

Глубокомысленное молчание, пока он раскуривал трубку.

– Я ничего не имею против католиков, мне вот только не нравятся, пожалуй, их папы. Да, мальчик, не могу сказать, что я одобряю ваших пап... Все эти Борджиа с их ядом в кольцах и прочими мерзостями были более чем подозрительной публикой. Ну да ладно, хватит об этом, ты-то ведь тут ни при чем. Ты веришь в того же Всевышнего, что и твоя бабушка, но она не хочет, чтобы ты поклонялся Ему со свечами и фимиамом. А по мне так поклоняйся. Пожалуйста. Я буду защищать твое право на это. И вот что я тебе скажу: у тебя столько же оснований пройти через золотые ворота или какие там ни есть, хоть ты и слушаешь мессу, а священники твои ходят в пышных облачениях, как и у твоей бабушки, хотя она поет псалмы и бубнит библейские тексты.

Никогда не видел я дедушку таким взволнованным. Он, презиравший велеречивых людей и бесповоротно клеймивший любого оратора за многословие, сам, как ни странно, отличался порой удивительной словоохотливостью. Целых полчаса разглагольствовал он с жаром хорошего трагика; с языка его слетали страстные бессмертные слова – «свобода», «либерализм», «терпимость», «свободомыслие», «вечно живое наследие», «человеческое достоинство». Он выражал такие чудесные, такие возвышенные чувства, что я, конечно, ослышался или мне показалось, будто он иногда противоречил сам себе; ну, например, распространяясь о том, что все должны любить друг друга, он внезапно с силой ударил кулаком по столу и заявил, что «мы», подразумевая себя и меня, «уж зададим перцу этой старой ведьме» – подразумевалась бабушка.

И тем не менее беседа с ним успокоила меня. В последующие пятницы мама, ни о чем не расспрашивая, давала мне немного овощей, а когда папы не было дома, крутое яйцо. С первого июня, не сказав, по совету дедушки, никому ни слова, я стал посещать маленький монастырь Святых ангелов и готовиться к своему первому причастию.

Нас было совсем немного под крылышком матери Элизабет-Джозефины – всего шесть или семь смешливых девочек и еще один мальчик, Анджело Антонелли, сын итальянца, тор-

говавшего мороженым в городе. Это был очень хорошенький мальчик: кожа у него была как персик, шелковистые каштановые волосы вились кольцами, большие черные блестящие глаза, казалось, молили о чем-то. Настоящий младенец с полотен Мурильо, хотя я тогда понятия об этом не имел; я понимал только, что он мне нравится, и, поскольку он был маленький – больше чем на год моложе меня, – я сразу стал опекать его.

Занятия проходили иногда в тишине полутемной церкви, у бокового придела, под витражом, изображавшим «Спасителя, несущего свой крест»; порой – в строгой монастырской приемной, а чаще всего, поскольку дни стояли теплые, – на лужайке в монастырском саду. Тут мы, дети, рассаживались на поросшем травой склоне, в тени цветущего душистого чубушника, а добрая монахиня, положив книгу на колени и вложив руки в широкие рукава своей одежды, усаживалась на раскладном стуле перед нами. В саду за высокой стеной было удивительно тихо, – казалось, он находится в тысяче миль от шумного города. Время от времени появлялась какая-нибудь из сестер в белом чепце с широкими крыльями, почти совсем скрывавшем ее лицо, и прохаживалась по дорожке, перебирая четки. Длинная одежда красиво колыбалась в такт ее плавным движениям. Откормленные голуби прогуливались по саду и доверчиво подходили совсем близко к нам. В воздухе стоял звенящий гул от мошкары, вившейся столбом над белыми цветами чубушника; нежный запах этих цветов, напоминающий аромат апельсинового дерева, удивительно гармонировал с этим тихим уголком и с этими благочестивыми монахинями, которые мнят себя Христовыми невестами, – недаром у каждой на четвертом пальце правой руки толстое золотое кольцо. Сквозь покачивающиеся ветви деревьев на фоне неба виден каменный крест церкви, как бы вписанный в круг, – крест Святого Андрея. Наша сестра прикладывает палец к губам, требуя молчания, и начинает рассказывать нам о младенце Христе, а мы покорно смотрим на нее, округлив глаза. Памятные часы невинного детства: никогда ни до, ни после не пришлось мне изведать такого покоя, такого безмятежного счастья.

Мать Элизабет-Джозефина была женщина уже немолодая, с морщинистым, довольно суровым лицом. Она была хорошим педагогом. В ее изложении перед нами оживали те далекие дни в Палестине. Затаив дыхание, слушали мы ее и видели бедные ясли и ребенка в них. Мы видели, как Святое семейство на осле – нет, вы только подумайте: бедный осел! – спасается от злодея Ирода. Должно быть, из-за моего сомнительного прошлого мать Элизабет-Джозефина уделяла мне больше внимания, чем всем остальным, и я очень гордился этим, особенно когда она хвалила меня за быстрые ответы. Каноник Рош, случалось, заходил к нам и, глядя на нас с поистине удивительной добротой, о чем-то шепотом совещался с досточтимой матерью монахиней; при этом оба неизменно смотрели на меня. После таких совещаний мать Элизабет-Джозефина удваивала свою доброту ко мне. Она давала мне ладанки и маленькие святые образки, которые я носил под рубашкой. Я от всего сердца полюбил Иисуса, который в моем представлении был похож на маленького Анджело, доверчиво сидевшего рядом со мной. Я не мог дождаться того дня, когда, по словам матери Элизабет-Джозефины, Иисус приидет ко мне в виде блестящей облатки-гостии, которую положат мне на язык.

Потом мать Элизабет-Джозефина начала рассказывать нам всякие ужасные истории, которые приключаются с теми, кто плохо причастится. Она привела много печальных примеров. Был такой случай с одним мальчиком, который по беспечности «нарушил пост», съев по пути к алтарю несколько крошек, завалившихся у него в кармане; а другой неосторожный негодник проглотил несколько капель воды со своей зубной щетки. Уже это было скверно, ну а третья история положительно вызвала у нас дрожь. Одна девочка из дурного любопытства сняла святую облатку с языка и положила в носовой платок... И платок потом оказался весь в крови!

Никто не следил за моим обучением более пристально, чем дедушка. Для начала он спросил меня, как выглядит мать Элизабет-Джозефина, хорошенькая она или нет, на что я вынуж-

ден был ответить, что нет. Когда я рассказал ему о чуде, происшедшем с платком, который окрасился кровью, дедушка и глазом не моргнул.

– Удивительно! – задумчиво произнес он. – Надо мне, пожалуй, причаститься вместе с тобой. Очень уж это интересно.

– Ах нет, что ты, что ты, дедушка! – в ужасе воскликнул я. – Это был бы грех, страшный грех. И к тому же тебе сначала пришлось бы пойти на исповедь... и рассказать канонику Рошу про все скверные дела, которые ты натворил в своей жизни.

– В таком случае, Роберт, – мягко заметил он, – это была бы очень длинная беседа.

В конце июля мать монахиня занемогла, и ее место на складном стуле у куста чубушника заняла молодая, розовощекая монахиня – сестра Цецилия. Это было милое ласковое существо, и ее занятия с нами проходили гораздо интереснее; ее синие глаза при упоминании о нашем Спасителе затуманивались и становились задумчивыми, и она не пугала нас всякими мрачными историями. Я пришел от нее в восторг и поспешил домой поведать эту новость дедушке.

– Дедушка, у нас новая учительница. Молодая монашка. А какая хорошенькая, просто ужас!

Дедушка откликнулся не сразу. Знакомым мне жестом он подкрутил ус. Потом сказал:

– Мне кажется, Роберт, я до сих пор пренебрегал своими обязанностями. Завтра я сам отведу тебя на занятия. Я хочу повидать сестру Цецилию.

– Но, дедушка, – с сомнением сказал я, – мужчин, по-моему, не пускают в монастырь.

Он улыбнулся своей спокойной самоуверенной улыбкой и, продолжая подкручивать ус, сказал:

– Ну, это мы еще увидим.

Верный своему слову, дедушка на следующий день старательно почистил платье, навел глянец на башмаки, со степенным видом надел шляпу и, взяв свою лучшую палку с костяным набалдашником, пошел со мной в монастырь, где после некоторых колебаний со стороны молоденькой прислужницы, которую, однако, дедушка очень быстро сумел очаровать своей величественной осанкой, нас провели в приемную. Здесь дедушка присел на стул, положил шляпу у ног и выпрямился – столп Церкви, да и только. Затем кивнул мне, как бы говоря, что ему нравится эта комната и царящая в ней атмосфера. И устремил целомудренный и в то же время любопытный взгляд на белую статую Мадонны в голубых одеждах, стоявшую под стеклянным колпаком на каминной доске.

Когда сестра Цецилия вошла в комнату, он поднялся и отвесил ей свой самый церемонный поклон.

– Извините за вторжение, сударыня. Дело в том, что я глубоко заинтересован в благополучии, – и он положил руку мне на голову, – моего юного внука. Меня зовут Александр Гау.

– Да, мистер Гау, – несколько неуверенно пробормотала сестра Цецилия: хоть это было учебное заведение, а не закрытый монастырь, ей едва ли приходилось иметь дело с посетителями типа дедушки. – Садитесь, пожалуйста.

– Благодарю вас, сударыня. – Дедушка снова поклонился и, подождав, пока сядет сестра Цецилия, уселся на свое место. – Сначала я должен открыто и честно признаться, что я не принадлежу к вашей вере. Вы, очевидно, в курсе тех исключительных обстоятельств, которые осложняют жизнь моего маленького внука. – Снова его рука легла мне на голову. – Но вам, конечно, неизвестно, что это я направил его к вам.

– Это делает вам честь, мистер Гау.

Дедушка с каким-то грустным видом протестующе махнул рукой.

– Хотел бы я быть достойным ваших похвал. Но, увы, мои побуждения, во всяком случае вначале, были продиктованы рассудком – холодным рассудком гражданина мира. Однако, сударыня... или, может быть, я могу называть вас «сестра»? – Он помолчал и, дождавшись, когда сестра Цецилия смущенно наклонила голову в знак согласия, продолжал: – Однако,

сестра, с тех пор, как мой внучек начал ходить к вам, особенно с тех пор, как вы, сестра, взяли на себя попечительство о занятиях, я почувствовал глубокое умиление... меня все больше и больше стали привлекать прекрасные и простые истины, слетающие с ваших уст.

Сестра Цецилия вспыхнула от удовольствия.

– Конечно, – продолжал дедушка более грустным, но самым своим чарующим тоном, – жизнь моя не была безупречной. Я немало порыскал по свету. В моих скитаниях... – (Разинув от удивления рот, я взглянул на него: неужели он снова станет рассказывать про зулусов? Но нет, он не стал.) – В моих скитаниях, сестра Цецилия, мне не раз приходилось сталкиваться с большим соблазном, которому тем более трудно противостоять, когда у такого чертовски несчастного человека – ах, простите, пожалуйста! – когда у бедного малого нет никого, кто мог бы позаботиться о нем. Любому человеку жизнь покажется бесконечно тягостной, если возле него нет славной любящей женщины. – Он вздохнул. – Чего же удивительного, если сейчас... у такого человека может появиться желание прийти сюда... в поисках душевного покоя?

Сестру Цецилию явно взволновала эта речь. Ее румяные щечки так и пылали, а затуманившиеся слезою глаза с состраданием смотрели на дедушку, жалея его погибшую душу. Сжав руки, она пробормотала:

– Это очень поучительно. Я убеждена, что, если вы действительно хотите покаяться, каноник Рош будет счастлив помочь вам.

Дедушка высморкался, потом с улыбкой сожаления покачал головой.

– Каноник хороший человек, на редкость хороший... но что-то не очень симпатичный. Нет, вот если б мне разрешили приходить с Робертом на занятия, сесть где-нибудь в уголке и слушать, то, мне кажется...

Тень сомнения пробежала по лицу сестры Цецилии, словно тучка по прозрачной воде пруда. Но как видно, она больше всего опасалась расхолодить дедушку или обидеть.

– Боюсь, мистер Гау, что ваше присутствие будет отвлекать детей. Но что-нибудь, конечно, можно придумать. Я непременно поговорю с нашей настоятельницей.

Дедушка одарил ее своей самой чарующей улыбкой – да, повторяю, несмотря на его уродливый нос, улыбка у него была неотразимо чарующая. Он встал и пожал руку сестре Цецилии, вернее, не пожал, а подержал ее пальцы в своих, точно хотел нагнуться и почтительно поцеловать их. И хотя он не сделал этого, щечки сестры Цецилии еще долго горели после его ухода, а когда она рассказывала нам историю блудного сына, ее серьезные глаза увлажнились слезой.

Выйдя из монастыря, я увидел дедушку, он прогуливался у ворот, поджидая меня; дедушка был в наипрекраснейшем расположении духа, помахивал палкой и что-то напевал. По пути домой он читал мне лекцию насчет облагораживающего влияния хороших женщин, потом вдруг прерывал сам себя и начинал петь или приговаривал: «Прелесть. Просто прелесть!» Я слушал его не без волнения, ибо последние недели сам переживал большие трудности – о чем речь будет ниже, – и все из-за женщин. Тем не менее я был рад, что сестра Цецилия и строгая тишина опрятной монастырской приемной произвели такое прекрасное впечатление на дедушку.

Он тактично пропустил неделю и затем решил нанести следующий визит, избрав для этого солнечный день, когда, по его словам, «в саду будет особенно хорошо». Он уже представлял себя сидящим рядом со мной на лужайке. Он тщательнее обычного приводил себя в порядок и долго возился перед зеркалом, подстригая бороду, что он иногда делал, когда собирался к миссис Босомли. Всегда равнодушный к чистому белью, он надел свою лучшую белую рубашку, которую сам выстирал и выгладил. Он даже продел в петлицу пучок незабудок, яркая голубизна которых так подходила к цвету его глаз. Затем он взял меня за руку, приосанился, и мы быстрым шагом направились в монастырь.

Увы! В маленькую приемную к нам вышла не сестра Цецилия, а мать Элизабет-Джозефина, еще более суровая, чем обычно, и не вполне оправившаяся после воспаления желчного

пузыря. У дедушки сразу вытянулось лицо, а его приветственная улыбка застыла, словно прихваченная морозом; достопочтенная же настоятельница резким тоном приказала мне идти на лужайку, где мы занимались.

Минуту спустя, уже сидя на поросшем травой склоне, я услышал, как хлопнула входная дверь от толчка сильной руки. А затем сквозь деревья я увидел, как дедушка спустился по ступенькам и пошел по аллее к выходу. Хотя на таком расстоянии я едва ли мог рассмотреть толком, он, по-моему, был смущен и ужасно пришиблен. Когда после краткого, отрывистого наставления достопочтенная мать Элизабет-Джозефина отпустила нас и я вышел к воротам, дедушки там не было. А вечером я заметил, что он вынул из петлицы голубые незабудки.

Бедный дедушка! Меня очень тревожило, что его покаянное настроение так скоро прошло, но праздник Тела Господня, приходящийся на последний четверг месяца, был не за горами, и я пребывал в том состоянии возбуждения, когда то и дело переходишь от отчаяния к блаженству. Прежде чем я вкушу сладостную благодать причастия, мне придется пройти сквозь пытку первой исповеди. Несколько раз уже каноник Рош беседовал с нами на эту тему, и хотя говорил он в сдержанных тонах, я начал смутно понимать, какие страшные ловушки готовит природа ничего не подозревающим детям. Начал я кое-что понимать и в разнице полов. Слово «непорочность» было произнесено нашим пастырем хоть и мягко, но достаточно веско. И тут из тумана передо мной вдруг возникло сознание моего греха. О боже, как я грешен: я совершил самый страшный, непростительный грех. Никогда, никогда не смогу я рассказать об этом канонику.

А придется рассказать. Проклятие, тяготеющее над теми, кто «плохо» исповедался, даже страшнее того, что тяготеет над теми, кто «плохо» причастился. Сердце у меня екнуло: я понял, что мне придется открыться в моем позоре... Ох, какая мука сознавать, что нет избавления!

Наконец роковой день и роковой час настали. Весь потный от страха и стыда, я, спотыкаясь, прошел в темную исповедальню под витражом, изображающим «Спасителя, несущего свой крест», где каноник Рош ждал меня. Ноги у меня подкосились, и я гулко ударился голыми коленями о голые доски. И заплакал.

– Отец, отец, простите меня. Я такой скверный, мне так ужасно стыдно.

– В чем дело, дорогое дитя? – Мягкое поощрение, звучавшее в сдержанно суровом тоне, лишь усилило мое горе. – Ты сказал какое-нибудь дурное слово?

– Нет, отец, хуже, гораздо хуже.

– Что же это, дитя?

И я выпалил:

– Ох, отец, я спал со своей бабушкой.

Почудилось мне это или за таинственной решеткой в самом деле раздался веселый смех? А быть может, это просто был отзвук моих рыданий?

Глава 12

Праздник Тела Господня наступил; проснувшись утром, я увидел серое небо – такое же серое, как тело мертвого Иисуса, когда Его сняли с креста. Всю ночь я проворочался на соломенном матрасе в своем уголке на кухне; лишь временами мне удавалось вздремнуть, и тогда мне снилось, что живой младенец Иисус спит со мной рядом – его хорошенькая головка лежала у меня на подушке, а мягкая щечка прижималась к моей. Я просыпался, от души надеясь, что не согрешил во сне. Потом меня стали мучить сомнения: не повинен ли я в «бесстыдстве», когда раздеваюсь? Не смотрел ли я «нечистым» взглядом на распятие, или на статую Мадонны, или еще на что-нибудь? Наложив печать на глаза и уста, бреду я, спотыкаясь, по земле, боясь, как бы не впасть в грех. Мне так хочется не просто «хорошо», а «отлично» причаститься, что в подтверждение этого я стал отыскивать знамения и прочие знаки небесного благоволения.

Посмотрю, например, на небо и скажу себе: «Если я увижу облако, похожее на лицо святого Иосифа, я замечательно причащусь». И вот я запрокидываю голову и, прищурившись, из всех сил пытаюсь найти в воздушных туманностях профиль святого, хотя бы его бороду. Или подниму с дороги три камушка – по числу Святой Троицы – и скажу себе, что если одним из них попаду в угловой фонарь, значит отлично причащусь. Но я тут же отказываюсь от своих попыток из боязни совершить святотатство.

В это утро, однако, на меня нисходит удивительное спокойствие, душа моя полна любви, и втайне я сам дивлюсь тому, что именно мне из всех, кто окружает меня в этом доме и думает сейчас о всяких повседневных мелочах, требуя: один – завтрак, другой – горячей воды, третий – вычищенные сапоги, – только мне одному уготована сладостная и приятная честь вкушать от тела Сына Господня.

Накануне вечером я тщательно вычистил рот; теперь мне уже не надо ломать голову над тем, как отказаться от завтрака. Неужели дедушка рассказал маме? Она больше не заставляет меня есть. Босиком я поднимаюсь наверх и вижу, что дедушка готовится сопровождать меня в церковь; он очень возбужден – разве может он пропустить такую, как он выражается, «церемонию». Хотя дедушка донельзя обидчив, он не злопамятен и уже простил мать Элизабет-Джозефину за то, что она изгнала его. В монастыре было решено, что я чересчур «большой» для белого костюма, – благое решение, ибо даже белые туфли и носки были для меня проблемой, их достал мне мой чудесный дедушка, а как – я и сам не знаю, ибо денег у него, конечно, нет; когда же я спрашиваю его об этом, он лишь пожимает плечами, намекая, что пошел ради меня на большую жертву. Позже был обнаружен залоговый билет... на синюю вазу, стоявшую в гостинной.

А пока я не без гордости надел новые туфли и носки. Мы выходим с дедушкой и очень скоро добираемся до церкви. Высокий алтарь украшен белыми лилиями; они кажутся мне дивно прекрасными; я смотрю на них из первого ряда, где сижу возле Анджело, одетого в белый морской костюмчик, а через проход от нас сидят шесть девочек: одна из них – ну просто противно! – хихикает от волнения под белой вуалью, прикрепленной к венку из искусственных белых цветов. Сразу за нами сидят родственники тех, кто сегодня впервые причащается. Там же и дедушка – он сидит возле мистера и миссис Антонелли, а рядом с ними – дядя и сестра Анджело; всё живо интересуется его, и, я надеюсь, он не слишком презрительно относится к тому, что должно произойти, хоть он уже и допустил уйму промахов: забыл преклонить колена и окропить себя святой водой. А все-таки я рад, что он здесь, и я знаю, что ему хочется быть мне полезным; вот я слышу, он нагнулся и поднял перчатку миссис Антонелли... или ее молитвенник.

В ризнице зазвонили в колокольчик, и месса началась. С благоговением слежу я за всем, что происходит, читаю молитвы перед причастием и жду, жду лишь того момента, который сделает эту мессу отличной от всех других, какие были до или будут после нее. Как мало времени осталось до этой минуты! Все внутри у меня дрожит. Но вот и «Domine non sum dignus»⁶. Наконец-то, наконец! Я трижды ударяю себя в грудь, потом встаю и вместе с Анджело и остальными, еле передвигая подгибающиеся ноги, подхожу к перилам алтаря. Я чувствую на себе взгляды всего прихода, голова у меня кружится; я вижу каноника Роша в пышных одеяниях, он идет нам навстречу, неся чашу с причастием; я тщетно пытаюсь припомнить, как я должен совершить поклонение кресту, и в надежде, что не осрамлюсь, закрываю глаза, поднимаю голову и, раскрыв дрожащие губы, как учила нас мать настоятельница, шепчу в душе последнюю молитву, одно только слово «Иисусе».

Вот мне кладут на язык гостию – никак не думал, что она такая большая и жесткая; я ведь ждал чего-то воздушного, необыкновенного. Рот у меня пересох, и мне трудно не только про-

⁶ «Господи, я недостоин» (лат.).

плотить ее, но даже повернуть; я возвращаюсь на свое место, красный как рак, в висках у меня стучит, я сжимаю их руками и наконец проглатываю облатку. И ничего не происходит – я не почувствовал никакой особой благодати, никаких перемен в душе. Разочарование захлестнуло меня. Неужели я «плохо»... Нет, нет, я глушу в себе это страшное предположение, с жаром берусь за молитвенник, читаю благодарственную молитву и немного успокаиваюсь.

Поднимаю голову и вижу Анджело, который мягко улыбается мне, слышу, как позади меня кашляет дедушка, и преисполняюсь уверенностью в себе. Я горжусь тем, что совершил такой важный обряд. И вместе со всем приходом читаю молитвы после мессы.

Когда мы вышли из церкви, на улице светило солнце, монастырские сестры улыбались мне, а потом меня окружили дедушка и Антонелли, стали поздравлять меня, трести за руку, обнимать. Мой замечательный родственник стал уже ближайшим другом итальянского семейства, которое было от него прямо в восторге, больше того, он их положительно очаровал. Дедушка представил меня мистеру и миссис Антонелли, их взрослой дочери Кларе, а также дяде Анджело – Виталиано, смуглому человеку лет пятидесяти, тихому и скромному, с отрешенным, как у очень глухих людей, лицом. Все улыбались мне, а миссис Антонелли, дебелая черноглазая дама с челкой и крошечными золотыми кольцами в ушах, одетая в зеленое бархатное платье, по-матерински ласково посмотрела на меня и сказала:

– Какой милый приятель у нашего маленького Анджело.

Тут мистер Антонелли, такой же темноволосый, как и его жена, но, правда, с намечающейся лысиной и ниже ее ростом, вдруг ударил кулаком по своей ладони и, обратив на дедушку большие печальные глаза, совсем такие же, как у Анджело, только с мешками под ними, порывисто и в то же время робко изрек:

– Мистер Гау, я хочу просить вас об одолжении. Наши мальчики уже стали добрыми друзьями... Если вы не побрезгуете... пойдемте к нам завтракать.

Дедушка сразу согласился. Мистер и миссис Антонелли очень обрадовались. И мы пошли: Анджело и я впереди, а дедушка и остальные сзади.

Антонелли жили над своим заведением, выкрашенным в розовые и малиновые тона; над входом висела горделивая вывеска, на которой блестящими золотыми буквами было выведено: «Ливенфордский первоклассный салон мороженого. Антонио Антонелли, единственный владелец». Такое же поистине экзотическое великолепие было и наверху. Пестрые ковры, яркие – желтые с зеленым – занавеси. Повсюду висели цветные картинки из Священного Писания: Антонелли были очень верующие; по обеим сторонам каминной доски, прикрытой вязаными салфеточками, – две мирские картины: виды Капри и Неаполя, поражающие глаз голубизной мерцающих далей. А рядом – боже правый! – извержение Везувия. С позолоченной консоли на стене мне улыбалась маленькая статуя, разодетая в белое и розовое, точно кукла. Никогда еще не бывал я в доме, где все было бы так не по-нашему и где бы в воздухе носились таинственные запахи. Ноздри мои щекотали ароматы незнакомой мне кухни – пахло фруктами, чем-то острым, кислым, едким, запахом лука и пота, кипящего сала и сырых опилок, а из погреба снизу подымался сладкий запах ванили, которую кладут в мороженое.

Пока миссис Антонелли и Клара, взволнованно переговариваясь, хлопотали, накрывая на стол, Анджело застенчиво взял меня за руку и повел в конец коридора на первом этаже. Здесь он остановился с многообещающим видом у полураскрытой двери, ведущей в комнату, которая, как выяснилось позже, принадлежала его дяде. Сердце мое заколотилось при виде шарманки, прислоненной к стене, настоящей старинной шарманки, на которой перламутром было выведено: «Орган Орфея». Но увидеть то, что за этим последовало, я никак не предполагал.

– Николо, Николо! – тихонько позвал Анджело.

Обезьянка в красном кафтанчике спрыгнула с постели, переваливаясь прошла по полу и вскочила на руки Анджело. Это была маленькая чистенькая обезьянка с грустными глазами и крошечным сморщенным встревоженным личиком. У нее было точно такое выражение, какое

много лет спустя я видел на лицах новорожденных: пришибленное, удивленное, взволнованное и в то же время раздраженное. Анджело нежно поглаживал обезьянку и предложил воспользоваться этой чудесной привилегией и мне.

– Погладь его, Роби. Он тебя не укусит. Он ведь знает, что ты мой самый лучший друг. Правда знаешь, Николо? У него нет блох, ни одной нет. Он принадлежит моему дяде Вите. Вита любит его больше всего на свете. Он говорит, что Николо приносит нам счастье. Когда мы только приехали в Ливенфорд и были очень бедные, мой дядя ходил по улицам с шарманкой и Николо. И много же денег ему давали! Но теперь, когда мы стали богатые – ну почти богатые, – мама не разрешает ему ходить с шарманкой, хоть ему и очень хочется. Мама говорит, что это некрасиво, что нам не пристало заниматься такими делами. И теперь Николо живет у нас – он наш любимец, самый большой любимец. Ему было три года, когда дядя привез его. А сейчас ему всего десять – он еще молодой, это совсем немного для обезьяны.

Тут миссис Антонелли позвала нас. В полном восторге последовал я за Анджело, который, не спуская обезьянки с рук, провел меня в гостиную, где уже все собрались.

– Ах нет, не надо Николо! – запротестовала миссис Антонелли, когда мы вошли. – Только не сегодня, Анджело, когда у нас такие милые гости.

– Но, мама, – возразил Анджело, – ведь сегодня же день моего первого причастия.

– Ну ладно, ладно. – Миссис Антонелли косо посмотрела на дядю Виту и, повернувшись к дедушке, сверкнула ослепительной улыбкой. – Это любимец нашего Анджело!

Анджело прочитал молитву, мы все сели за стол, накрытый вышитой скатертью и уставленный множеством блюд, какие никогда не появлялись во время завтрака на столе в «Ломонд Вью». Тут стояли большие тарелки с мясом и рисом, с макаронами под томатным соусом, куриный паштет, заливное из языка, маслины, сардины, анчоусы, ваза с фруктами, огромный мороженный торт, на котором было написано: «Благослови Боже нашего Анджело», а вокруг него несколько высоких бутылок вина.

Дедушка, которого посадили между Кларой и миссис Антонелли, был в необычайно приподнятом настроении. Во главе стола сидел сияющий мистер Антонелли. Вид у него был на редкость довольный: очень уж ему льстило наше присутствие.

– Немножко вина, мистер Гау, самую капельку. Вино особое. Из Неаполя. Фраскати.

Были наполнены бокалы, даже бокал смуглого, молчаливого, улыбающегося дяди Виталиано, который, видимо, занимал несколько подчиненное положение в семье. Тут из-за стола поднялся дедушка и предложил тост:

– За наших малышей. За этот счастливый и святой день в их жизни.

Все выпили, даже мы, дети, – у нас с Анджело было тоже по крошечной рюмочке. Вино было сладкое и приятно согревало.

– Вам нравится фраскати, мистер Гау? – заискивающе спросил, подавшись вперед, мистер Антонелли.

– Очень освежающее вино, – любезно ответил дедушка. И добавил: – Легкое.

– Да, да, очень легкое. Приятное и легкое. Еще бокал, мистер Гау.

– Благодарю вас, мистер Антонелли.

Обезьянка, которой, видно, скучно было сидеть на коленях у Анджело, вдруг потянулась и взяла банан. Я молча уставился на нее, а она очистила плод и принялась есть – совсем как маленький человечек. Анджело с гордостью кивнул и прошептал:

– Обожди, ты еще не такое увидишь.

– Разрешите мне наполнить ваш бокал, миссис Антонелли, – предложил дедушка. – И ваш также, дорогая мисс Клара.

Хотя обе дамы отказались, со смехом прикрыв бокалы рукой, дедушка явно пользовался у них огромным успехом. Тогда он наполнил свой бокал и, шепнув что-то на ухо Кларе, весело рассмеявшейся в ответ, с самым серьезным видом принялся рассказывать нашей хозяйке о

том, как он блистал на собраниях у мэра и в других высокопоставленных домах, что на дороге к Драмбакскому кладбищу. Миссис Антонелли была явно в восторге оттого, что она хотя бы в разговоре может приобщиться к такой знати.

Смех становился все более громким: дедушка стал вышучивать кавалера Клары.

– Ну разве молодое поколение может сравниться со старым, – высокомерно заявил он.

Когда дедушка и мистер Антонелли начали обмениваться тостами: «За Италию!», «За Шотландию!», нам с Анджело разрешили встать из-за стола. Мы взяли Николо и пробрались в комнату дяди Виталиано, а там, нажав на кнопку «тихо», принялись крутить шарманку. Она играла четыре мелодии: «Шотландские колокольчики», «Вперед, Христовы воины!», «Боже, спаси короля» и «О Мария, цветами тебя венчая».

Николо не меньше нас наслаждался музыкой. «Шотландские колокольчики» были его любимой мелодией, и, когда раздались знакомые дребезжащие звуки шарманки, он стал танцевать и дурачиться. Почувствовав, что он в центре внимания, чего ему так недоставало в гостинной, Николо старался вовсю; потом вдруг побежал по коридору и вернулся со шляпой – это была дедушкина шляпа. Он принялся расхаживать в ней, словно заправский щеголь, время от времени снимал шляпу и раскланивался. Наш смех поощрял его. Он залопотал, надел шляпу себе на хвост, потом подкинул вверх и поймал прямо на голову. Потом сделал вид, что разозлился, с визгом пнул шляпу ногой, перекувырнулся через нее и, свернувшись клубочком, притворился, будто заснул.

Мы с Анджело катались от хохота, как вдруг дверь отворилась и в комнату вошел дядя Вита; на его серьезном спокойном лице было написано неудовольствие. Он взял на руки Николо, погладил его, утихомирил и посадил в корзину, стоявшую в углу. Потом поднял дедушкину шляпу и, обшлагом стирая с нее пыль, сказал что-то по-итальянски. Анджело повернулся ко мне:

– Он говорит, мы так шумели, что даже ему, глухому, слышно было. А ведь сегодня для нас святой день... Он хочет, чтобы мы сели и спели гимн. – И Анджело добавил уже от себя: – Дядя Вита у нас очень верующий.

– А что он еще сказал?

– Видишь ли... Он сказал, что твой дедушка выпил уже три бутылки вина... и все один. И что он пожимает Кларину руку под столом.

Я притих и сел на пол рядом с Анджело, а дядя Вита с артистическим вдохновением принялся крутить ручку шарманки. Мы запели:

О Мария, цветами тебя венчая, Царицу ангелов, царицу мая...

Когда мы кончили, дядя Вита улыбнулся и что-то сказал. Анджело перевел:

– Он говорит, что мы никогда, никогда не должны забывать, как чудесно чувствовать на себе благодать Божью. Если в такую минуту мы умрем, или нас убьют, или разрежут на мелкие кусочки, мы попадем прямо на небо.

Тут меня позвали снизу: пора было уходить. Дедушка прощался в передней; он многократно пожал руки мистеру и миссис Антонелли и, отеческим жестом обняв Клару за талию, сказал:

– Право же, дорогая моя, вы должны позволить эту маленькую вольность человеку, достаточно старому, чтобы быть вашим отцом.

– До свидания, до свидания. – Все улыбались и были веселы, кроме кавалера Клары Таддеуса Геррити, который только что вошел и очень покраснел, увидев, как дедушка целует Клару.

Мы с дедушкой вышли на улицу. Голова моя шла кругом от всех приятных событий этого богатого событиями дня. Да и на дедушку они явно произвели впечатление: глаза у него блестели, на щеках играл румянец, и время от времени он слегка, ну совсем слегка покачивался, чтобы удержать равновесие...

Благодарь! Я вспомнил слова дяди Виты – их словно птица принесла на крыльях, птица-вестник. Или это фраскати, все еще бродящее внутри, вдруг преисполнило меня такого неизъяснимого восторга? Я знаю. Я твердо знаю, что хорошо причастился, да, хорошо, а быть может, даже и отлично. Я чувствую, что с языка дедушки вот-вот посыплются банальные шуточки – они накапливаются и растут точно снежный ком. Но на сей раз, не в силах удержаться, я опережаю его. Порывисто схватив его за руку, я говорю:

– Ох, дедушка, как я люблю нашего Спасителя... но тебя я, конечно, тоже люблю.

Глава 13

Весь август мы провели среди опаленных зноем и пропыленных живых изгородей; ветерок, налетавший порывами, лишь слегка шевелил поникшие ветви деревьев, и они устало вздыхали – то был протест земли, истощенной чрезмерным плодородием. Большинство добропорядочных ливенфордских горожан отправилось вместе с семьями к морю. Опустевший городок кажется чужим, и гулкий звук моих шагов по булыжнику Рыночной площади, вид пустынных улиц и крыш, вздымающихся одна над другой на фоне зубчатых стен замка, создают впечатление, что ты находишься в осажденном городе.

Гэвин еще не вернулся, и его задушевные письма вызывают во мне все большее желание видеть его. Никаких драматических происшествий, во всем застой; однако под крышей нашего дома хоть и вяло, но разворачиваются события – так порой рыба, уже уставшая биться, вдруг встрепетается и подпрыгнет.

Каждый вечер, когда я выходил подышать свежим воздухом, прежде чем приняться за домашнюю работу, заданную мне на каникулы, – длинное сочинение на тему «Мария, королева Шотландская», – я видел Джейми Нигга, который сидел на низенькой каменной ограде нашего сада, с нарочитой небрежностью повернувшись спиной к дому. При нем всегда была губная гармошка, на которой он тихонько и беззаботно наигрывал премилую мелодию; поскольку он не мог сказать мне, как она называется или что это такое, я называл ее «Песенка Джейми». И до чего же это была заразительная мелодия! Джейми играл, я молча садился рядом с ним, радуясь холодным капелькам росы, оседавшим на пожелтевшей траве, и низким туманам, тянувшимся, точно долгожданное подкрепление, с иссушенных зноем полей.

После семи часов с парадного крыльца спускалась Кейт – в это время она обычно навещала свою подругу Бесси Юинг; она выходила без шляпы, подняв воротник легкого серого макинтоша и засунув руки в карманы. Больше недели она не обращала на нас внимания, если не считать легкого, холодного, еле приметного кивка мне. Джейми тоже не замечал ее; он сидел совсем неподвижно, только гармошка скользила у него по губам да песенка звучала громче, когда Кейт исчезала из виду, и как бы следовала за ней по улицам. Я смутно понимал, хотя здесь не было ни любовных вздохов, ни балкона, ни гитары, что это – серенада, серенада на шотландский манер, медлительная, упорная, неотступная.

Но вот однажды вечером Кейт как-то нехотя, словно против воли, остановилась. Она сурово посмотрела на меня и сказала:

– Тебе бы следовало заниматься сочинением, а не сидеть здесь.

Но, прежде чем я успел ответить, Джейми отнял гармошку от губ, энергичным движением руки стряхнул накопившуюся влагу и сказал:

– Мальчик ведь не делает ничего дурного.

Тут уж Кейт вынуждена была взглянуть на него, что она со злостью и сделала. А злило ее многое: злило его упорство, злило то, что он продолжает сидеть, тогда как она стоит перед ним, а больше всего злило то, что она злится. И все-таки она первая опустила глаза. Молчание.

– Какой прекрасный вечер, – сказал Джейми.

– Наверное, дождь пойдет. – В тоне Кейт звучала досада.

– Может быть, может быть. Хороший дождичек не помешает.

Пауза.

– Вы меня затем и задерживаете, чтобы говорить о погоде? – Однако с места Кейт не трогалась.

Только сейчас я впервые заметил – когда она стояла передо мной в полутьме, храбро выставив вперед ногу, засунув в карманы крепко сжатые руки, нахмутив некрасивое лицо, словно собиралась драться, – какая она вся ладная, сильная, какие у нее красивые ноги, какие тонкие лодыжки. Возможно, что и Джейми заметил это. Он задумчиво сыграл несколько тактов и снова встряхнул гармошку.

– Я как раз подумал, что в такой замечательный вечер неплохо бы прогуляться.

– В самом деле?! А куда же вы хотели бы пойти, разрешите спросить?

– Да куда угодно, мне все равно.

– Спасибо, вот спасибо за приглашение. – Кейт сухо мотнула головой. – Приятно, нечего сказать. Ну а я иду сейчас в гости к моей подруге мисс Юинг. – И она шагнула, собираясь уйти.

– Это мне по дороге, – заметил Джейми, поднимаясь со своего места и отряхиваясь. – Я пройду с вами до ее калитки.

Растерявшись, Кейт не нашла, что возразить. Щеки ее по-прежнему пылали, по всему было видно, что она возмущена. И все-таки, как ни странно, я чувствовал, что ей не так уж неприятно идти с ним, правда шли они на некотором расстоянии друг от друга. Сгущавшаяся темнота милосердно скрывала ноги Джейми.

Я постоял, наслаждаясь тишиной и чудесным прохладным воздухом, глотнул его в последний раз и, точно за мной кто гнался, со всех ног кинулся в дом и принялся вынимать на кухне книги из своего залатанного ранца.

Мэрдок уже сидел, озабоченно склонившись над книгами; страницы он переворачивал редко, зато обильно посыпал их перхотью. Я частенько сомневался, действительно ли Мэрдок занимается: его познания как-то ни в чем не проявлялись, а раз или два я заметил, что он прячет среди учебников каталог семян – доказательство его тайной страсти ко всему, что связано с садоводством. Он то и дело отрывается от учебников, вскакивает, начинает громко рыгать (хотя желудок у него работает, как у страуса, все почему-то уверены, что он героически переносит «воспаление желчного пузыря») либо подойдет к зеркалу и выдавит несколько угрей из подбородка или выйдет в садик и бродит там, словно неприкаянная душа. Иногда он, сам того не сознавая, приоткрывает мне свои мысли:

– А ты знаешь, что в Голландии тюльпаны разводят не на грядках, а в полях? Подумать только! Целые мили тюльпанов!

А сейчас в углу позади него молча сидит в кресле его отец, выпрямившись, точно в седле. Скоро начнутся экзамены на замещение вакансии в почтовом ведомстве, и он натянул поводья; больше того, появился и кнут для острстки злополучного малого. Не только для будущего самого Мэрдока, но и для престижа инспектора необходимо, чтобы сын его преуспел. До чего же хочется этому неудачнику, которого все кругом терпеть не могут, объявить мэру, мистеру Мак-Келлару, своему начальнику доктору Лейрду, медицинскому инспектору округа, вызывающему у него такую зависть, – словом, объявить всему городу: «Мой сын, мой второй сын... поступил на государственную службу...»

Тихонько, чтобы не потревожить Мэрдока, я кладу свои учебники на стол напротив него. Учебники мои, надписанные красивой вязью дедушки, обернуты в коричневую бумагу, которую мама прошила, дабы сберечь их, «чтоб подольше служили»; надо все сохранять; ведь ничто, ничто никогда не пропадает в этом хозяйстве. Вот уже три месяца, как я перешел в старший класс. Мой новый учитель, мистер Синджер, лысый, медлительный и методичный человек, ласков и внимателен ко мне. Освободившись из-под тирании мистера Далглейша, я

больше не заливаю чернилами тетрадки и не стою как идиот, когда он меня спрашивает у доски. Наоборот, я стал проявлять удивительные способности. В эту минуту из моего учебника по истории вылетела карточка – некая карточка, которую я хранил, ибо она доставляла мне тайное удовлетворение, и упала на пол; я виновато покраснел, почувствовав на себе папин взгляд. Он заметил, что я покраснел, заметил карточку и сразу насторожился. Он жестом велел подать ему карточку-обличительницу.

Долгая пауза, во время которой папа изучает карточку – мои отметки за четверть, вписанные рукой мистера Синджера:

Р. ШЕННОН

География 5

Арифметика 5

История 5

Английский язык 5

Французский язык 5

Рисование 4

Поведение 5

Подпись: Дж. Синджер, магистр искусств.

Я вижу, что папа ошеломлен. Сначала он пронзил меня взглядом, уверенный, что это трюк, дешевый обман. Но нет, на карточке стоит название учебного заведения, а в конце – размашистая подпись... Я читаю его мысли: «Должно быть, это правда». Нельзя сказать, чтобы он был доволен. С обиженным видом, буркнув что-то, он возвращает мне карточку, и я, по-прежнему чувствуя себя виноватым, усаживаюсь за свои учебники.

В кухне воцаряется тишина, если не считать тиканья часов, шелеста переворачиваемой страницы, поскрипывания кресла, в котором нетерпеливо ворочается папа... и, конечно – чуть не забыл, – постукивания маминых спиц: она уже кончила возиться в чуланчике и вяжет сейчас шарф Адаму. Что бы она ни вязала, это всегда для Адама.

В девять часов вечера возвращается Кейт; она не заходит на кухню, а прямо поднимается к себе в комнату. Господи боже мой! Нет, я, наверно, ошибся. И все-таки она сейчас напевала – напевала отрывок из песенки Джейми.

Через полчаса мама многозначительно смотрит на меня. Я откладываю в сторону книги и очень осторожно, чтобы не наткнуться на что-нибудь и не потревожить папу, пробираюсь в свой уголок за занавеской и начинаю раздеваться. Я ужасно голоден; мне кажется, прошли столетия с тех пор, как я пил чай, во мне вдруг просыпается волчий аппетит; страх как хочется съесть кусочек хлеба с джемом из ревения. Маленькую корочку белого хлеба, такую чудесную белую корочку! Мама бы, конечно, дала мне ее, но это неслыханно – просить есть в такой поздний час. Я опускаюсь на колени, читаю молитвы, и вот я уже в постели. Сквозь тонкую занавеску я слышу, как тихо бьется пульс этого дома, приютившего меня: вот папа с мамой обмениваются каким-нибудь словом, шуршит переворачиваемая страница, урчит водопровод в ванной, кто-то ходит над моей головой.

Порой я долго не могу заснуть и лежу, глядя на белеющий в полутьме потолок; сквозь дрему я слышу, как Мэрдок уходит к себе наверх, и тогда между папой и мамой начинается одна из тех долгих бесед, которые они ведут вполголоса на кухне, прежде чем лечь спать; отдельные слова долетают до меня. Ардфилланское общество здравоохранения... предложило папе выступить с докладом на тему «Уборка мусора»... Сколько она заплатила сегодня за говядину? Ну и цены!.. Нет, в этом году отдыхать они никуда не поедут... куда лучше вложить деньги в Строительное общество. А когда мама начинает робко упрашивать, он говорит: ну ладно, быть может, в будущем году, если Адама «повысят»... Или если сам папа продвинется по службе... А пока надо экономить... экономить... экономить.

Я уже больше не удивляюсь, я привык к папиной бережливости, этой всепоглощающей страсти, которая с каждым днем, видно, все больше одолевает его, заставляя мозг его выдумывать новые и новые способы экономии; он уже стал настоящим аскетом: вечно отказывает себе во всем, а маму заставляет всячески изощряться, чтобы сэкономить на хозяйстве. Маме очень хотелось бы покупать продукты в «хороших» магазинах, например у Дональдсона или у Брюса, чьи огромные зеркальные витрины так и манили ее к себе. Она прекрасно готовит – было бы только из чего; ее пирожные (в тех редких случаях, когда есть лишние яйца) просто великолепны. Она с радостью готовила бы нам всякие лакомые блюда. Однако, взглянув на свою черную сумку, она обычно решает ограничиться ячменными хлебцами и посылает меня к Дургану за костями на пенни («Да попроси, чтобы он оставил немножко мяса на них, дружок»), затем к Логану – тоже в бедный квартал – за кореньями на полпенни, а если выразаться точнее, то купить морковки и брюквы на фартинг. Бедная мама!.. В прошлый понедельник, когда ты разбила новый колпачок, прилаживая его к газовой «люстре» в передней (дело, требующее большой осторожности), ты даже расплакалась от огорчения.

Сегодня я устал и хочу спать. Уже забываясь сном, я подумал, что завтра мы с дедушкой, наверно, пойдем к Антонелли.

В течение тех недель, пока Гэвин был в отсутствии, я много времени проводил с маленьким Анджело Антонелли. Приятно было иметь хоть какое-то развлечение в эту изнуряющую жару, да и Анджело всегда так трогательно радовался мне. Он был похож на девочку, живую и нежную, с чудесными влажными глазами и приятными манерами. Когда мы с Анджело бегали по двору, он не выпускал моей руки из своей и всегда плакал, когда мне пора было идти домой.

Он был, конечно, очень балованным ребенком – ведь между ним и Кларой разница в целых двенадцать лет. Он вечно требовал от своего толстого, добросердечного и обожающего отца – и вечно получал – игрушки, сладости, фрукты – все, что угодно. Он был полным хозяином в салоне мороженого: ему, например, ничего не стоило совершить налет на вазу с шоколадными бисквитами или вскрыть банку с консервированными грушами, тогда как я совестился в «Ломонд Вью» выпить стакан воды. Целый день в доме звенел его детский голосок: «Мама, я хочу дыни»; «Папа, я хочу лимонаду». Как-то раз Анджело с довольной улыбкой рассказал мне, что заставил свою мать среди ночи встать с постели и поджарить ему яичницу с ветчиной. Однако он никогда не съедал того, что ему клали на тарелку, и вечно был нездоров.

Иногда я вспоминал сурового Гэвина, его холодную ярость, периоды упорного молчания, презрение к кротким и ничтожным людям, и мне становилось не по себе. Но хотя Анджело и был мальчик избалованный, дружить с ним было приятно: уж очень привлекала обезьянка, с которой мы без конца играли. Да и мать Анджело рада была, когда я приходил.

Теперь, когда ее муж, которым она командовала как хотела, сколотил капиталец, миссис Антонелли стала гордиться своей семьей, которую сначала в Ливенфорде презирали за бедность. Дебелая Клара нашла себе выгодную партию в лице Таддеуса Геррити, отец которого управлял крупной фирмой по доставке мебели. Я уверен, что миссис Антонелли улыбалась мне – милому мальчику, ученику Академической школы, да к тому же еще и католику, – и угощала дедушку вином и пирогами (а он регулярно навещал ее днем), потому что мы были представителями аристократии с Драмбакской дороги и городского чиновничества – обстоятельство немаловажное в глазах иностранца.

Должен признаться, что я с немалой тревогой слушал, как дедушка «распинается» за стаканчиком фраскати перед своими внимательными слушательницами – Кларой и миссис Антонелли. У миссис Антонелли, когда она не следила за собой, было жесткое выражение лица, и уж очень она была черная – по своей наивности я решил, что она, наверно, каждый день бреется. Но дедушку, казалось, ничто не смущало: он говорил и говорил, гладко и плавно, без запинок – так величавый парусник скользит, подгоняемый легким ветерком.

Успокоившись, я выбегал с Анджело на улицу, и мы отправлялись слушать оркестр, игравший в городском саду, катались по пруду на лодке или шли в монастырь Святых ангелов вместе с дядей Витой, этим чудаковатым, смиренным, простодушным дядей Витой, которого остальное семейство еле терпело и который проводил полдня со своей любимой обезьянкой, а другую половину – в молениях.

Так прошел месяц. Однажды вечером, когда по маминой просьбе я прикручивал газ в передней до положенного «уровня», вошла Кейт, а было уже довольно поздно.

– Это ты, Роби? – Ее, казалось, смутил даже тот полусвет, который царил в передней, но голос звучал тепло, дружелюбно.

– Да, Кейт.

Когда я спустился со стула, на котором стоял, чтобы достать до газовой «люстры», она взяла меня под руку.

– Мальчик ты мой хороший.

Я покраснел от удовольствия: уже давно Кейт была как-то особенно ласкова со мной.

– Послушай, Роби... – Кейт запнулась и рассмеялась. – Это просто смешно... Джейми Нигт хочет, чтобы я поехала с ним на ярмарку в Ардфиллан. – Она снова рассмеялась при одной мысли о столь нелепом предложении. – Но я, конечно, не могу поехать с ним одна – дамам это не положено. Он и сам это понимает. Поэтому... он... то есть мы... с удовольствием возьмем тебя с собой, если ты захочешь с нами поехать.

Захочу ли я с ними поехать?! Да разве я не слышал, разве не мечтал о райских удовольствиях, ожидающих посетителя Ардфилланской ярмарки, где к услугам всей округи раз в год устраиваются всевозможные аттракционы, увеселения и забавы?

– Ох, Кейт! – вздохнул я.

– Значит, решено. – Она снова пожала мне руку и уже стала подниматься по лестнице, как вдруг, что-то вспомнив, с доброй улыбкой обернулась. – Твой приятель Гэвин приехал. Я только что видела, как он выходил с вокзала.

Гэвин приехал! Наконец-то. На два дня раньше, чем предполагал. Значит, завтра я непременно его увижу. Мысль об этом наполнила меня радостью, да еще предстоящая поездка на ярмарку в Ардфиллан! Я быстро перевел дух. Сгорая от нетерпения, я приоткрыл входную дверь и выглянул в темноту. Звезд не видно, небо обложено тучами, но мягкий прохладный ветерок полон обещаний. Какой же чудесной может быть жизнь, просто чудесной!

Глава 14

На следующее утро я рано вышел из дому. Я обещал Анджело вернуть журналы, которые взял у него, и мне хотелось как можно раньше освободиться. Я побежал по дороге к кладбищу и вдруг увидел Гэвина, который шел мне навстречу в направлении «Ломонд Вью».

– Гэвин!

Он не сказал ни слова, только изо всей силы сжал мне руку, стараясь подавить радостную улыбку, за которую, должно быть, презирал себя как за проявление слабости. Он мало вырос, но очень загорел и окреп. Достаточно мне было его увидеть, почувствовать, как его серые глаза ищут моего взгляда, и на душе у меня потеплело. Я порывался сказать ему, как мне его не хватало. Но это не полагалось. Нужно быть спокойным и суровым и говорить только самое необходимое.

– А я шел за тобой, – глядя куда-то вдаль, в сторону наших Уинтонских холмов, пояснил он свое появление здесь в столь ранний час. – Я думал, не сходить ли нам на Кряж ветров. Там есть орел. Лесничий говорил отцу. Мы доберемся до скал, пока солнце еще низко, и понаблюдаем за орлом. Завтрак я с собой прихватил.

Я заметил, что за спиной у него висит рюкзак. Орел! И Гэвин! И весь день на холмах... Сердце мое подпрыгнуло.

– Вот это здорово! Но сначала мне надо отнести эти журналы Анджело.

– Анджело? – не понимая, переспросил он.

– Анджело Антонелли, – поспешил пояснить я. – Знаешь, этому маленькому итальянцу. Мы часто бывали вместе, пока ты отсутствовал. Конечно, он еще совсем малыш...

Я запнулся, смущенный выражением недоверия и обиды, появившимся в его глазах.

– Единственные итальянцы, каких я знаю в Ливенфорде, – это торговцы мороженым. Один из них даже ходил с шарманкой и обезьяной по городу и собирал гроши.

У меня запылали уши: да как он смеет так презрительно говорить о дяде Вите, Николо и моих друзьях! А Гэвин продолжал:

– Надеюсь, ты не хочешь сказать, что подружился с их отродьем?

– Анджело очень хорошо ко мне относится, – сказал я дрогнувшим голосом.

– Анджело?! – Еще более задетый тем, что у моего маленького приятеля такое имя, Гэвин презрительно улыбнулся. – Ну, пошли. Полезем на Кряж. А о том, что мы это время делали, можно рассказать друг другу и наверху.

Я понурил голову и, не поднимая глаз от земли, проговорил:

– Я обещал вернуть журналы. Здесь «Сфир», «График» и «Иллюстрейтед Лондон ньюс». – Губы у меня пересохли, я еле выговаривал названия журналов, надеясь, что хоть это поможет мне обелить Антонелли. – На этой неделе в них были замечательные фотографии: как из кокона вылупляется бабочка Адамова голова. Каждую субботу миссис Антонелли посылает эти журналы своим родственникам в Италию. Надо их вернуть ей до отправки почты. Видишь, какой Анджело добрый: он сначала дает их посмотреть мне.

Гэвин побледнел. Натянутым тоном, в котором чувствовалась ревность, он заметил:

– Ну конечно, если ты предпочитаешь мне всяких там новоиспеченных дружков... это твое дело. А я сейчас отправляюсь на Кряж. Хочешь – пойдем со мной. Не хочешь – оставайся со своим Анджело.

С минуту он подождал, не глядя на меня, замкнувшись в своей гордыне, только губы у него дрожали. А у меня сердце разрывалось от горя; мне хотелось крикнуть ему, что он ошибается, должен же он понять... Но ведь он несправедлив ко мне; я побледнел и, решив не отступать, не сдвинулся с места. А он повернулся и зашагал к Кряжу.

Глубоко огорченный и ошеломленный этой неожиданной ссорой, я продолжал свой путь в город. Я решил, что просто оставлю журналы и уйду. Но, добравшись до ливенфордского «Салона», я узнал, что у Анджело стряслась беда куда серьезнее моей.

– Николо болен. Очень болен.

Всхлипывая, он рассказал мне, как все произошло. Виновата Клара, злополучная Клара. Дядя Вита, ходивший по вечерам молиться в монастырь Святых ангелов и пропадавший там иной раз часами, имел обыкновение оставлять Николо во дворе, чтобы обезьянка в его отсутствие могла наслаждаться свежим воздухом, а не сидеть в душной комнате. Но он всегда оставлял открытым окно, чтобы Николо, если погода испортится, мог по водосточной трубе, все равно как по лестнице, немедленно вернуться в комнату. Два дня тому назад к вечеру разразилась сильнейшая гроза, и Клара, чтобы не намокли занавески, поспешила закрыть все окна в доме. Дядя Вита находился в церкви, «Салон» был закрыт; бедный Николо целый час пробыл под проливным дождем; когда Вита вернулся в половине одиннадцатого, насквозь промокшая обезьянка сидела, забившись в уголке двора.

Я последовал за Анджело наверх. В сраженном горем доме царила суматоха. На кухне расстроенная миссис Антонелли смачивала холст в горячей воде. Клара лежала на диване в гостиной, уткнувшись лицом в подушку. В спальне дяди Виты стоял мистер Антонелли,

горестно наблюдая своими большими глазами за тем, как дядя Вита, засучив рукава, неугомонно хлопотал возле Николо.

Обезьянка лежала в постели – не в своей корзине, а посредине большой белой постели дяди Виты, обложенная подушками. На ней была лучшая шерстяная куртка дяди Виты и шапочка из неаполитанской мягкой шерсти с кисточкой. Ее маленькое сморщенное личико, выделявшееся на фоне огромной постели, казалось еще более сморщенным. Время от времени зубы Николо принимались стучать, его колотил озноб, и он с тревогой поглядывал на нас. Дядя Вита каким-то остро пахнущим маслом растирал обезьянке грудь. Хлопоча возле больного Николо, Вита все время говорил: сам с собой, с обезьянкой, но главным образом – и явно укоризненным тоном – с мистером Антонелли. Я взглянул на Анджело, он тоже был настолько потрясен этой сценой, что даже перестал плакать. Шепотом он перевел мне:

– Дядя Вита говорит, что это Бог нас наказывает за то, что мы Его забыли... Отец слишком много думает о делах, мама – о гостях да знакомствах, а Клара – о мужчинах. Дядя говорит, что это они с Николо положили начало нашему богатству, собирали по грошику, когда мы сидели без хлеба. Он говорит, что, если Николо умрет... это он говорил вот сейчас, когда плакал... никому из нас никогда, никогда не видать больше счастья.

В комнату вошла запыхавшаяся миссис Антонелли с холстом в тазу, от которого шел пар, и покорно остановилась у кровати. Клара, словно призрак, проскользнула в дверь и стала у притолоки, следя покрасневшими от слез глазами за дядей Витой, который прикладывал холст к телу обезьянки.

Но очевидно, это мало помогало. И вдруг Вита – этот благочестивый, тихий Вита – воздел руки к потолку и разразился потоком слов. Анджело прошептал мне на ухо:

– Он говорит, надо вызвать доктора к Николо, самого лучшего, какой есть в городе. И что Клара, грешница и преступница Клара, из-за которой случилась эта беда, должна немедленно сходить за ним.

Клара начала было возражать.

– Она говорит, что никакой доктор не пойдет к обезьяне. Она попытается найти ветеринара.

По тому, как бешено исказилось лицо Виты, я сразу понял, что с ветеринаром дело не выйдет.

– Нет, – как бы подтверждая мою мысль, кивнул Анджело. – Надо доктора, и только доктора. Надо заплатить столько, сколько он запросит, пусть даже он возьмет все золото, какое у нас есть. И доктор должен быть лучший в городе.

Клара хоть и заплакала, но покорилась, надела шляпу и вышла, прихватив с собой большую пачку денег, которую дал ей мистер Антонелли. А мы сели вокруг кровати и, не спуская глаз с обезьяны, стали ждать доктора – все, кроме Виты, который, перебирая четки и шевеля губами, стоял у постели на коленях.

Через полчаса Клара вернулась одна. Вита сразу вскочил, допросил Клару, которая снова разразилась слезами, закричал не своим голосом и, схватив шляпу, выскочил вон.

– Клара побывала у четырех врачей, и ни один не захотел прийти. Теперь дядя Вита пошел сам.

Добрый час просидели мы у изголовья Николо; наконец послышался звук открываемой входной двери – все вздрогнули. Это был дядя Вита, и мы с облегчением вздохнули, услышав, что он не один.

Вошел врач. Это был доктор Галбрейт, сухопарый старик с маленькой козлиной бородкой; его считали в городе опытным врачом, но не очень любили из-за резкости. Как глухой, не знающий языка Вита сумел убедить этого желчного эскулапа, так и осталось тайной, но самое любопытное, что он пришел не из-за денег.

С минуту он постоял посреди комнаты с таким видом, точно хотел выставить всех нас отсюда. Но потом, видно, передумал и занялся обезьяной. Он измерил Николо температуру, пощупал пульс, простукал всего, заглянул к нему в горло, затем долго с помощью коротенького деревянного стетоскопа прослушивал ему грудь. Обезьянка вела себя великолепно: большими испуганными глазами она доверчиво смотрела на доктора и даже без ложки дала ему посмотреть горло.

Пощипывая бородку, доктор Галбрейт с живейшим интересом и одобрением смотрел на своего пациента, забыв о том, что в комнате полно народу и все пристально следят за каждым его движением. Анджело шепнул мне:

– Дядя Вита считает его очень хорошим доктором.

А доктор, очнувшись от своей задумчивости, написал два рецепта и, скривив с легкой иронией губы, начертал на них: «Мистеру Нику Антонелли». Затем он уложил инструменты в свой черный саквояж и сказал:

– Лекарство давать каждые четыре часа. Держать в постели, согревающее тепло, утром и вечером припарки из льняного семени, кормить только жидким и питательным. Отличный экземпляр североафриканской макаки. К сожалению, у всех у них слабая грудь. У него двустороннее воспаление легких. Доброй ночи.

Он ушел. Хотя дядя Вита бежал за ним до самого конца улицы, он так и не принял ни пенни. Тогда я понял, что его привел сюда чисто научный интерес – странное, чудесное и совершенно бескорыстное чувство, которое уже охватывало меня, когда я сидел у микроскопа, а в более поздние годы должно было служить источником тех немногих радостей, что выпадали мне в жизни. В ту минуту я невольно ощутил гордость за этого угрюмого шотландского доктора, с которым меня роднила национальная общность и общность интересов. Насколько лучше быть таким, чем суетливым и экспансивным, как эти южане!

После его посещения все немного повеселели: теперь хоть известно было, что надо делать. Меня послали в аптеку за лекарством; миссис Антонелли и Клара принялись готовить припарки, а Вита самолично стал варить бульон из цыпленка. Обезьянка согласилась проглотить лишь немного молока. После лекарства ей, видно, захотелось спать, и мы на цыпочках вышли из комнаты.

К сожалению, я был слишком хорошо знаком с легочными заболеваниями и понимал, что Антонелли не вполне представляют себе, как протекает двустороннее воспаление легких. И в самом деле, на следующее утро Николо стало хуже. Обезьянка вся горела и жалобно повизгивала, мечась на большой постели, возле которой стоял на коленях дядя Вита. За весь день она выпила лишь несколько глотков куриного бульона, и к вечеру дыхание у нее стало прерывистым и хриплым.

К концу недели Николо стало еще хуже, и в доме воцарилась горестная тишина, лишь время от времени нарушавшаяся истерическим плачем женщин да дикими криками обезумевшего дяди Виты. Делать мне было нечего, Гэвин не показывался, в школе все еще были каникулы, и я все свое время отдавал Антонелли. Я стал своего рода пажом при больной обезьянке. Каждый день в три часа приходил дедушка, преисполненный серьезности и сознания своего достоинства, чтобы выразить соболезнования. Он ждал в гостиной, надеясь, очевидно, сказать несколько слов сочувствия Кларе или в крайнем случае миссис Антонелли, – а может, его еще и угостят бокальчиком фрассати для поддержания духа. Но в воздухе уже чувствовалось первое – пусть слабое – дуновение мистралья. Витиеватые изъяснения сочувствия дедушки выслушивал с кислым видом сам мистер Антонелли. И конечно, никакого фрассати.

А больному становилось все хуже и хуже. Бедный Николо теперь едва дышал и так похудел, что стал похож на маленький скелетик. Снова был вызван доктор, который решительно заявил, что обезьяна обречена. Мистер Антонелли побелел и сказал, что надо бы закрыть «Салон», а на улице перед домом разбросать солому.

В субботу дядя Вита свирепо посмотрел в упор на мистера Антонелли. Анджело перевел: – Он говорит, что только Бог может спасти Николо. Поэтому мы должны молиться, отчаянно молиться о чуде. Отец должен пойти к канонику Рошу, чтобы тот помолился и отслужил мессу за обезьянку. Монастырские сестры пусть девять дней кладут поклоны, а потом пусть придут сюда и молятся за Николо. О господи, дядя Вита говорит такие страшные вещи папе.

Мистеру Антонелли явно не нравилась возложенная на него миссия. Но сейчас Вита командовал в доме: обезьянка каким-то непонятным образом превратилась в фетиш, во все-сильного божка, от жизни или смерти которого зависело крушение или процветание Антонелли. Итак, мистер Антонелли взял шляпу и медленно вышел.

На следующее утро, в воскресенье, каноник Рош объявил с кафедры церкви Святых ангелов, что сейчас начнется служба по просьбе мистера Виты Антонелли. Несколько разочарованный тем, что он не назвал Николо по имени, я, однако, скоро успокоился, ибо в тот же день к Антонелли в дом прибыли мать Элизабет-Джозефина и одна из монастырских послушниц. Антонелли щедро жертвовали на монастырские нужды, и обе монахини были крайне любезны и исполнены готовности помочь. Мы все стали на колени в гостиную и тихо, чтобы не тревожить умирающую обезьянку, принялись читать тридцатидневную молитву и «Мемораре».

Назавтра, в сырой и ненастный понедельник, Николо был при последнем издыхании; с начала его болезни прошло ровно девять дней. Теперь дядя Вита уже никого не впускал в комнату больного, он сам сидел у постели обезьянки и ни на минуту не покидал ее. Но в то утро, в девять часов, вскоре после моего прихода, он вышел из комнаты и, войдя в гостиную, где все мы сидели, точно помешанный, ткнул пальцем в Клару.

– О святой Иосиф! – жалобно пропищал Анджело. – Он говорит, что Клара одна во всем виновата и что она сейчас же, немедленно, должна подняться на триста шестьдесят пять ступеней. В этом вся наша надежда!

Пока все волновались, тщетно пытаясь урезонить дядю Виту, позвольте мне дать небольшое пояснение. Эта добрая простая душа – уроженец солнечной Италии и хранитель всех предрассудков Средневековья, который мог вдруг остановиться посередине мостовой на шумной Главной улице и, запрокинув голову в черной шляпе с широкими полями, падающими на глаза, уставиться на дивное небо, населенное святыми и мадоннами, – придумал себе здесь, на этой чужой для него земле, удивительнейший обряд, я бы даже сказал, испытание. В Замке на Скале, историческом монументе, о котором я уже упоминал, бывшей крепости со старинными пушками, охранявшей вход в дельту (когда-то ее защищали Брюс и Уоллес, а теперь это была всеми забытая святыня, просто памятник старины), снаружи шла крутая винтовая лестница, которая вела от спускной решетки вниз к разрушенному крепостному валу наверху и состояла ровно из трехсот шестидесяти пяти ступеней – по ступеньке на каждый день года. И вот какое испытание придумал для себя дядя Вита: он подымался по этой лестнице на коленях, на каждой ступеньке останавливался и читал «Ave Maria»⁷.

Через десять минут мы с Кларой отправились под дождем в замок. Эта грешница и гордячка Клара чуть не теряла сознание при одной мысли о предстоящей ей пытке и позоре. Но дядю Виту нельзя было ослушаться. На улице было слишком сыро, чтобы Анджело мог сопровождать ее, а потому попросили меня составить ей компанию и «последить» за тем, как эта красавица будет приносить покаяние. А если откуда-нибудь вдруг вынырнет гид или появятся экскурсанты, я должен был немедленно предупредить ее, она быстро поднялась бы с колен и, облокотившись на крепостной вал, сделала бы вид, будто любит окрестностями.

Однако в замке было пусто – всех прогнал дождь, ни одного любопытного не было поблизости. Мы решили, что я тоже должен пройти через испытание. И вот рядом, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы сказать «хвала тебе, Богородица», и отмахиваясь от любопытных

⁷ «Радуйся, Мария» (лат.).

галок, мы, точно крабы, поползли вверх по лестнице под неприветливым мокрым небом. Клара, хоть и была немало всем этим огорчена, предусмотрительно захватила с собой подушечку и маленький зонтик. Я же не подумал об этом, а поскольку прикрыться мне было нечем, вскоре промок насквозь и содрал кожу на голых коленках, но мы лезли все выше и выше под проливным дождем, лезли через силу, горячо молясь, отмахиваясь от круживших над нами галок и тревожа тени Уоллеса и Брюса, а также всемогущего Господа Бога.

Наконец испытание окончено, мы добрались до верха. Я едва стоял и почти ничего не видел, так как Клара в последнюю минуту – чисто случайно, но от этого ничуть не менее больно – ткнула мне зонтом в глаз. И все-таки мы достигли цели, взобрались на триста шестьдесят пять ступеней. И с сознанием, что достойно выполнили свой долг, вернулись в «Салон».

По тому, какой мученический вид напустила на себя Клара, я понял, что она ждет признания своего подвига. Но, уж конечно, она никак не ожидала той ликующей радости и тех похвал, какие обрушились на нее у порога. Дверь распахнулась – и все семейство ринулось ей навстречу. Как ее благодарили! Как все радовались! За это время у обезьяны произошел кризис. Позже я сам наблюдал и дивился, какая поразительная перемена наступает в больном по окончании легочного заболевания. Внезапная и магическая... Немудрено, что дядя Вита, с просиявшими глазами, вскричал, что добрый Бог вступился за маленького Николо. В двадцать минут двенадцатого – по подсчетам, это как раз совпадало с завершением нашего испытания, я же некоторое время спустя решил, что, скорее всего, это было в тот момент, когда Клара ткнула зонтиком мне в глаз, – Николо вдруг перестал задыхаться. От слабости у него выступил пот, он слегка улыбнулся своему хозяину и заснул глубоким сном; дышал он глубоко, ровно.

Здоровье обезьянки быстро пошло на поправку; помню, как дядя Вита, расплывшись в улыбке, объявил:

– Николо только что съел первый банан.

Вита снова занял прежнее подчиненное положение в доме, жизнь семейства быстро вошла в норму. Кларе сшили несколько новых, невероятно ярких платьев. Добрые сестры монахини получили богатый дар, а каноник Рош – пожертвование на новый алтарь в боковом приделе. Доктору среди ночи прислали три ящика самых лучших консервированных абрикосов – его домоправительница сказала как-то миссис Антонелли, что он питает слабость к этим плодам, к тому же полагали, что он откажется от обыденного подношения.

И только ко мне, Роберту Шеннону, помощнику незаметному, но такому полезному, была проявлена какая-то странная и непонятная холодность, которую можно было назвать по меньшей мере полным отсутствием внимания. Разве я на голых коленях не взобрался на триста шестьдесят пять ступеней и не помог хотя бы наполовину свершиться чуду? Разве не рыскал я по драмбакским лесам в поисках нежных зеленых гусениц, к которым капризный больной проявлял особую страсть? И за все это ни слова, ни капли благодарности! Наоборот, я стал замечать косые взгляды, а когда я поднимался вместе с Анджело из «Салона» в квартиру, разговор между Кларой, миссис Антонелли и Клариним кавалером тотчас обрывался. Подул уж совсем холодный мистраль. Мне предстояло довольно рано узнать одну из горьких жизненных истин.

Несколько дней спустя, когда мы с Анджело прогуливали по двору почти совсем поправившегося Николо, меня кто-то так толкнул, что я отлетел к стенке.

– Убирайся прочь, слышишь! – Из-под нахмуренных бровей на меня злобно глядели глаза Клариного кавалера Таддеуса. – Чтоб духу твоего здесь не было! Пошел вон, убирайся!

Я положительно оцепенел от страха и даже не нашелся, что ему ответить. Но кровь у меня все-таки вскипела. Я сказал, что никуда не уйду. Подождав, пока мы с Анджело остались вдвоем на залитом солнцем дворике, я спокойно, но настойчиво спросил его:

– Послушай, Анджело. Что-то случилось. Чем я провинился? Ну скажи же, Анджело!

Он избегал смотреть на меня. Потом вдруг поднял голову. Его румяное, как персик, лицо пожелтело и стало точно лапы у утки. В мечтательных глазах появилась злость.

– Мы больше не любим тебя! – взвизгнул он. – Мама говорит, что я не должен играть с тобой. Она говорит, что твой дедушка пьяница, он кланчит вино и у него нет денег, ни единой лиры. И он все врет насчет того, что бывает в знатных домах; никогда он там не был, просто он самый большой врун на свете...

Я в изумлении уставился на него. Неужели это тот самый мальчик, рядом с которым я стоял во время первого причастия, прелестное дитя, которое я так любил и которому так много прощал, которого не захотел предать и ради которого пожертвовал дружбой с Гэвином, дорогим Гэвином, хорошим, верным товарищем?

– Да! – продолжал он кричать. – Тад разужнал все это. Твой дедушка обманщик, он нищий, бродяга. Его весь Ливенфорд знает. Он гоняется за женщинами – это в его-то годы! И он скверный, гадкий! Он обнимал нашу милую Клару, чтобы позлить Таддеуса...

Дольше я уже терпеть не мог. Я смутно сознавал, что между Анджели и мной все кончено. Я повернулся было, чтобы уйти, но прежде изо всей силы ухватил его за маленький, как у ангелочка, носик. Наверно, это смертельный грех – причинить боль такому ангелу. Но воспоминание о том, с каким ревом он бросился к матери, озаряло радостью многие горькие недели моей жизни. Да, я до сих пор слышу его.

Глава 15

Настала неделя, когда Мэрдоку предстояло держать экзамен, и вот сей рьяный поклонник ботаники стоит посреди передней в своих лучших ботинках и праздничном костюме, а мама чистит его щеткой и даже опускается на колени, чтобы удалить пятнышко с обшлага брюк, – щетка так и летает в ее красной от работы руке, на усталом, озабоченном лице написана гордость. Мама, точно раба, обслуживает нас: стряпает и чинит, моет, натирает и скребет, из каждого гроша выколачивает тройную пользу, раньше всех встает и позже всех ложится, и никто ей за это спасибо не скажет; мама из сил выбивается, чтобы побольше сэкономить, как того требует папа, и даже находит время проявить сердечную доброту к старику, жившему в мансарде, и к несчастному мальчику, очутившемуся у нее на руках... Но на этой неделе – все для Мэрдока, и сейчас не до славословий. С наступлением роковых дней у него появилась какая-то приятная уверенность в себе. Накануне вечером у него состоялась серьезная беседа с отцом, которая никак на него не подействовала. Он сказал всем нам:

– Большого я сделать не могу.

И этому можно было верить: уж конечно, немало наскреб он знаний, когда часами скреб свою усыпанную перхотью голову. В кармане у него лежат деньги на завтрак; две пары очков – на случай, если одна поломается; перо, резинка, угольники – словом, все, что нужно. И вот он торжественно отбывает на станцию; он должен поспеть на поезд, отправляющийся в 9:20 в Уинтон, где ему предстоит держать экзамен. Мы с мамой стоим на пороге, машем ему вслед и от всего сердца желаем успеха...

Вечерами Мэрдок возвращался домой с четырехчасовым местным поездом; папа, приходивший в эти дни со службы пораньше домой, уже нетерпеливо поджидал его.

– Ну, как ты сегодня выдержал?

– Замечательно, папа, просто замечательно.

С каждым днем уверенность Мэрдока в себе все возрастала. Флегматично поглощая все, что ему подкладывала мама, он неторопливо и весьма кратко делился с нами впечатлениями дня, а ведь мы так ждали его рассказов!

– Право, я даже удивился... сегодняшнее задание было чертовски легким. Я исписал целую гору бумаги... пришлось попросить вторую тетрадку. А другие не исписали даже и половины первой...

– Молодец... молодец. – Отец как бы нехотя изрекал столь редкую в его устах похвалу, но глаза его блеснули.

Мама же без лишних слов наклонялась и оделяла Мэрдока такой же большой порцией студня, как и папу. Я был уверен, да и все мы были уверены, что успех его обеспечен. Мне было и приятно, и грустно; я невольно сопоставил себя с ним, думая о том, какими жалкими были бы мои успехи, если б мне пришлось держать такие экзамены. Были у меня и другие поводы для уныния. Разрыв с Антонелли, этими неблагодарными людьми, не умеющими ценить дружбу, по-прежнему мучил меня; у меня даже не хватило духу рассказать об этом дедушке. Но хуже всего было то, что я целых две недели не видел Гэвина; только раз мы встретились – прошли друг мимо друга по Главной улице, бледные как смерть, глядя прямо перед собой. А мне так хотелось вернуть расположение этого мальчика, которого я предал, хотелось всей душой.

Лишь один-единственный слабый просвет оставался на моем горизонте. В следующую среду открывалась ярмарка в Ардфиллане, на которую мне предстояло сопровождать Кейт и Джейми. Бывало, дедушка исправно посещал ярмарочные аттракционы, и теперь он с жаром описывал те удовольствия, которые ждали меня там. Когда я кисло заметил, что, надеюсь, мне будет там весело, он восторженно воскликнул:

– Конечно нам будет весело, дружок! Конечно будет весело!

Джейми обещал заехать за нами около двух часов в шарабане. Он прибыл точно в срок, но только в другом экипаже. Мы с Кейт поджидали его, стоя у окна гостиной, и так и ахнули от изумления, когда к дому подкатил желтый автомобиль.

– Если ваш брат Адам может раскатывать в таких машинах, то я тоже могу.

Джейми, в новой клетчатой кепке, был настроен куда веселее обычного и тотчас объяснил нам, как ему удалось раздобыть такой экипаж. У него есть приятель Сэм Лайтбоди – механик на аргайлском заводе. Сэм взял у себя на заводе машину и согласился отвезти нас в Ардфиллан.

Мы поздоровались с Сэмом; он сидел на месте шофера в больших очках, вцепившись в два вертикальных рычага с ручками, точно работа мотора зависела от пульсации его крови. Он посоветовал Кейт надеть вуаль, чтобы не слетела шляпа, и она сбегала за ней в дом. Мы восторженно оглядели машину, прежде чем занять свои места, как вдруг в калитку неторопливо вошел тщательно прилизанный дедушка со своей лучшей палкой в руках.

– Замечательно... замечательно, – сказал он, оглядывая машину; затем сурово произнес, обращаясь к Джейми: – Неужели вы думаете, что я соглашусь отпустить с вами мою внучку в Ардфиллан... допоздна... и с ребенком в качестве провожатого?

– Ох, дедушка, – раздраженно заметила Кейт. – Вас-то ведь не приглашали.

Но Джейми вдруг расхохотался во все горло. Он отлично знал дедушку: я не раз видел, как они выходили вдвоем из «Драмбакского герба», вытирая рот тыльной стороной ладони.

– Пусть едет с нами, – сказал он. – Чем больше нас будет, тем веселее. Влезайте.

Машина сначала несколько раз вздрогнула, потом рванулась с места и плавно помчалась по Драмбакской дороге. Кейт и Джейми сидели на высоком переднем сиденье возле шофера, ветерок слегка трепал горжетку из перьев на шее Кейт; а мы с дедушкой блаженствовали во вместительном багажнике. Не успели мы тронуться в путь, как к нам протянулась рука – рука Джейми – с большой сигарой. Дедушка взял ее, раскурил и, положив ногу на подушку сиденья, величественно развалился.

– Замечательно, Роберт, – произнес он тоном благовоспитанного человека. – Надеюсь, он провезет нас по городу. Тогда нас все увидят.

В это время мы как раз проезжали под железнодорожным мостом, направляясь к Главной улице. Вдруг кто-то так пронзительно закричал, что я подскочил от неожиданности. Я увидел Мэрдока; он стоял у выхода из вокзала и махал нам руками, прося остановиться. Но мы промчались мимо; тогда он сорвал с себя котелок и, продолжая махать рукой, тяжело переваливаясь, побежал за нами.

– Ой, Сэм, остановитесь, остановитесь! – воскликнул я. – Там наш Мэрдок!

Машина резко затормозила и, остановившись, начала так содрогаться, что мы подпрыгивали, точно горошины на барабане. Сэм, тоже подпрыгивая, со страдальческим видом обернулся к нам, – очевидно, он считал, что лишние остановки в пути не предусмотрены правилами нормальной эксплуатации автомобиля. Но вот и Мэрдок! Он подбежал, пытаясь и отдуваясь, в своем добротном праздничном костюме. Он залез к нам в багажник и, упав в изнеможении на откидное сиденье, воскликнул: «Я еду с вами!»

Молчание. Неужели конца не будет нашим непрошеным спутникам? Особенно дедушка был возмущен этим вторжением, но Сэм быстро вывел нас из затруднения, дернув за рычаг так, что мы все попадали вперед. Нас несколько раз тряхнуло, и мы покатили по городу.

– Ну как дела, Мэрдок? – крикнул я, перекрывая свист ветра, приятно гудевшего в ушах.

– Великолепно, – сказал Мэрдок. – Просто великолепно. – Он все еще отдувался, полулежа на сиденье; рот у него был приоткрыт, воротник пиджака поднят, чтобы не дуло в уши, которые как-то особенно торчали сегодня. Он был бледен – я решил, что это от чересчур быстрого бега, – и обмахивался шляпой, хотя в этом не было никакой необходимости. Потом он широко раскрыл рот, словно хотел что-то сказать, и тут же закрыл его.

Разговаривать было просто невозможно. Мы выехали за город и мчались по берегу реки Ли. Перед нами, простираясь к морю, лежала широкая дельта, вся в золотых солнечных бликах; вдоль берега через ровные зеленые пастбища и песчаные холмы вилась белая лента – дорога, по которой нам предстояло ехать; на западе, над голубоватым морем, вздымался синий силуэт вечно бодрствующего стража – горы Бен. Какая красота, какая тишь и светлая благодать! Почему же, когда я гляжу на все это, щемящая боль закрадывается в мое сердце? Несчастный юнец, в котором красота всегда будет рождать это неясное тягостное чувство. Я вздохнул, предаваясь сладостной грусти, которую вызывала во мне быстрая езда.

Машина работала на славу: под уклон мы мчались со скоростью двадцать миль в час. Когда мы проносились через деревни, жители выбегали на порог и смотрели нам вслед. Мужчины, работавшие в поле, разгибали спину и салютовали мотыгами новой техники. Только животные, казалось, взирали на нас с негодованием. Сэму пришлось призвать на помощь все свое умение, чтобы объехать упрямую корову; собаки с лаем яростно гнались за нами; возмущенные куры взлетали прямо из-под наших колес; а однажды в воздухе даже замелькали перья, но облака белой пыли, вздымавшиеся позади автомобиля, благополучно скрыли следы убийства, если таковое и произошло. Только один-единственный раз нам пришлось краснеть за нашу машину: когда доблестное сердце ее сдало при въезде на пригорок; мимо проходили какие-то деревенские грубияны, направлявшиеся, как и мы, на ярмарку; эти невежды захихикали:

– Эй! Вылезайте да подтолкните сзади!..

Мы прибыли в Ардфиллан около четырех часов – слишком рано для того, чтобы наслаждаться аттракционами, ибо они открывались по-настоящему только вечером. Кейт перешла через улицу и направилась в магазин дамских шляп, славившийся на этом восхитительном морском курорте, купить кое-какие мелочи для мамы. Сэм выключил мотор, и мы принялись глазеть на балаганы, палатки и карусели, раскинувшиеся по зеленой лужайке возле эспланады, за которой виднелся пляж и плескались волны.

Внезапно Мэрдок, который сидел съежившись, бледный, несчастный, глубоко вздохнул. Так глубоко, что вся наша машина содрогнулась, – я уже было подумал, что мы снова поехали. Но оказывается, это в душе Мэрдока произошел взрыв.

– Я покончу с собой.

Мэрдок так громко произнес, почти выкрикнул эту угрозу, что сразу привлек наше внимание. Выпучив глаза и молотя кулаками подушки, он продолжал:

– Говорю вам, я покончу с собой. Не хочу я служить в почтовом ведомстве. Все это папины выдумки. Я убью себя. И во всем будет он виноват. Убийца.

– Ради бога, дружище! – воскликнул встревоженный дедушка. – Что с тобой?

Мэрдок тупо посмотрел на него, потом на всех нас своими глупыми близорукими глазами. Внезапно его прорвало, и он громко рыдался.

– Я провалился. Экзаменаторы отослали меня домой. Сегодня утром меня отвели в сторону и сказали, чтобы я больше не приходил. Вот так и сказали, чтобы я больше не приходил. Не приходил. Тут, конечно, какая-то ошибка. Ведь я же великолепно, великолепно все сдавал.

Не выдержал! Мэрдок не выдержал! Мы оцепенело молчали. От его неумных рыданий сотрясалась машина, а вместе с нею и мы. Вокруг стал собираться народ.

– Послушай! – Дедушка схватил Мэрдока за ворот пиджака. – Возьми себя в руки.

– Ему надо дать чего-нибудь подкрепляющего, – угрюмо посоветовал Сэм.

– Ей-богу, правильно. Надо ему что-то дать, чтоб он стал человеком.

Дедушка и Джейми выволокли безжизненного Мэрдока из машины, а Сэм распахнул двустворчатую дверь погребка на эспланаде, находившегося как раз напротив. Прежде чем исчезнуть в прохладном помещении, Джейми крикнул через плечо:

– Побудь тут, малыш! Мы скоро вернемся.

Я постоял немного, думая: «Бедный Мэрдок!», а затем понуро пересек дорогу. Ярмарочная площадь стала уже заполняться народом; со всех окрестных селений стекались сюда жители. Я узнал в толпе нескольких ливенфордцев. И вдруг увидел знакомое лицо – загорелое и решительное. Это был Гэвин.

Он стоял совсем один возле небольшой группы и с присущим ему презрением наблюдал, как торговец безделушками пытается продать настоящие золотые часы какому-то оторопевшему фермеру. Вдруг он обернулся, и взгляды наши встретились поверх всей этой безликой толпы. Он вспыхнул, потом побелел, отвел глаза, но с места не сдвинулся. Затем он сделал несколько шагов в мою сторону и, остановившись возле плаката, рекламирующего паровые качели Уилмота, сосредоточенно, в полном одиночестве принялся изучать его.

Я тоже почувствовал интерес к этому плакату. И хотя рисунок был примитивный, а текст я знал наизусть, через минуту я уже стоял рядом с Гэвином и тоже глядел на плакат; я был очень бледен, и щека у меня дергалась – ужасная напасть, которая всегда приключалась со мной, стоило мне поволноваться или устать. Трудно сказать, кто из нас заговорил первым. Мы оба тяжело дышали и не отрываясь смотрели на изодранный, размытый дождем плакат, на котором едва можно было различить очертания качелей, взлетающих в поднебесье.

– Это я во всем виноват.

– Нет, я.

– Нет, я.

– Нет, Роби, право же, я. Я приревновал тебя к твоему новому другу. Я не хочу, чтобы у тебя был еще какой-то друг, кроме меня.

– Но ты же мой единственный друг, Гэвин. И всегда будешь единственным. Клянусь тебе. И клянусь, это я во всем виноват. Надо же было такого дурака свалить.

– Нет, я.

– Нет, я.

Он оставил последнее слово за мной – величайшая жертва: я ведь слабее его. Плакат уже больше не интересовал нас. Мы осмелели и посмотрели друг на друга. Я прочел по его глазам, что наша ссора огорчала его не меньше, чем меня. В тот долгожданный момент возрождения нашей дружбы рухнул сковывающий нас барьер сдержанности, мы не ограничились крепким рукопожатием и пошли на большее проявление чувств. Я взял Гэвина под руку крепко-крепко, и так, блаженно улыбаясь, ничего не видя перед собой и не говоря ни слова, мы двинулись вперед и, слившись с толпой, затерялись в ней.

Заиграл оркестр возле каруселей, пронзительно засвистели паровые свистки на качелях. Забили литавры, сзывая на веселый кекуок; зазвучали фанфары, оповещая о появлении Клео – самой толстой женщины в мире. На подмостках перед балаганами появились, размахивая тросточками, зазывалы в высоких крахмальных воротничках и галстуках бабочкой: «Сюда, сюда, леди и джентльмены! Заходите посмотреть на Лео – человека-леопарда! Заходите посмотреть на перуанских пигмеев! Единственная в мире говорящая лошадь! Сюда! Сюда!» Атракционы ожили. У нас голова пошла кругом, и мы стали протискиваться вперед. Джейми дал мне флорин на расходы. У Гэвина было примерно столько же. Он приехал из Ливенфорда поездом, но обратно может поехать с нами. И не надо будет расставаться. От этой мысли нам стало еще радостнее.

Мы попытались удачи в метании кокосовых орехов и вскоре получили каждый по три чудесных сочных плода; Гэвин просверлил один из них перочинным ножом, и мы по очереди приложились к нему; его сладкий сок стекал нам прямо в горло. Мы поглазели на лотерею, побывали на водном атракционе и в «Галерее эхо». И унесли с собой немало трофеев: булавки, пуговицы, шпильки, перья. Спустилась темнота, и зажглись керосиновые лампы. Толпа все прибывала, музыка гремела, убыстряя темп. Ух! Ух! Ух! – доносилось с качелей. На мгновение я заметил в толпе Кейт и Джейми; прильнув друг к другу, они со смехом осваивали кекуок. Потом мимо промелькнули дедушка, Сэм и Мэрдок на трех деревянных скакунах; выстроившись в ряд, они то попадали в полосу света, то ныряли в темноту под грохот оркестра. Котелок у Мэрдока съехал, в зубах была зажата сигара, в остекленелых глазах застыло восторженное выражение. Время от времени он приподнимался на стременах и издавал нечеловеческий вопль.

Уже поздно, очень поздно. Наконец, усталые и счастливые, мы собираемся у машины. Особенно счастливой кажется Кейт. Она то и дело поглядывает на Джейми, и глаза ее сияют нежностью. Мэрдок ословело смотрит на Гэвина и вдруг изрекает:

– Плевать я хотел, говорю вам, просто плевал я на все это; какое это может иметь значение для такого образованного человека, как я. – И дружески трясет его руку.

Тем временем Сэм, незаменимый Сэм, лезет под капот и пытается завести машину под мелодичный дуэт Мэрдока и дедушки, которые, стоя рядом, поют: «Дженевьева... Джен... е... вьева». На полслове Мэрдок обрывает пение и спешно отбывает куда-то в темноту, откуда доносятся звуки мучительной и долгой рвоты.

Но вот мы пускаемся в обратный путь и мчимся, разрезая прохладный ночной воздух, оставляя огни и гул ярмарки позади. В багажнике спит дедушка, на плече у него бледной тенью покоится Мэрдок. Рядом с ними, прижавшись друг к другу, Кейт и Джейми. Он обнимает ее за талию, и оба смотрят на молодой месяц.

На переднем сиденье устроились мы с Гэвином. Дружба наша возобновилась, и теперь мы никогда не расстанемся... Уж во всяком случае, будем вместе до...

Но, слава богу, мы ничего не знаем о том, что нам предстоит. Мы счастливы и верим в будущее. Все тихо, лишь стучит мотор да бодро шипят наши ацетиленовые лампы. Сэм, наш непроницаемый шофер, молча сидит один. Все дальше и дальше уносит нас машина в ночь. Двух мальчиков, покоряющих вместе тьму, неведомое, под непокоренными звездами.

– Вот что я люблю, – шепчет мне Гэвин.

И я знаю, что именно.

Глава 16

Дедушкина философия, основанная, несомненно, на собственном печальном опыте, заключалась в том, что человек должен расплачиваться за удовольствия; и когда я чересчур разойдусь, бывало, он частенько напоминал мне: «А ведь ты, дружок, заплатишься за это

утром». И наутро после нашего путешествия на ярмарку мы действительно ужасно поплатились. В доме царила роковая тишина, когда я проснулся позднее, чем всегда. Мэрдок все еще был в постели, папа ушел на работу, мама хлопотала в чуланчике за кухней. Дедушка раздраженно курил; нос у него был краснее обычного, и он явно не жаждал видеть меня. Я спустился вниз; входная дверь вдруг отворилась, и вошла бабушка. Она вернулась еще накануне днем (а я и не знал об этом) и, облачившись в свой лучший чепец и расшитую бисером накидку, уже успела сходить в канцелярию Котельного завода за пенсией.

– Ох, бабушка! – воскликнул я. – А я и не знал, что вы вернулись.

Она ни слова не ответила на мое радостное, взволнованное приветствие и с каким-то странным, напряженным лицом продолжала свой путь. Вдруг она остановилась и посмотрела на меня с таким глубоким огорчением, что я сразу встревожился.

– Ах, Роберт, Роберт, – сказала она ровным, но каким-то неестественным голосом, – никогда бы не подумала, что ты так поступишь.

Я попятился к стенке. Ясно: она узнала – должно быть, от мисс Минз – о том, что я презрел бабушкины благие наставления и отрекся от ее веры. Я смутно понимал, что она неодобрительно отнесется ко мне. Но ее мертвенно-бледное лицо, стиснутые зубы, скорбно сжатый рот и глубокое горе в глазах удивили и напугали меня.

– Когда-нибудь тебе очень захочется снова вернуться к твоей бабушке, – только и промолвила она, но таким огорченным и грустным тоном, что я затрепетал. Раскрыв рот, смотрел я ей вслед, пока она поднималась вверх. А там она постучала в дверь к дедушке и решительно вошла в его комнату.

Я бросился в гостиную. И почему религия, к которой я принадлежу от рождения, вызывает в бабушке такую дику и мрачную ярость? Ответ был уничтожающим. Эта достойная, почтенная женщина за всю свою жизнь разговаривала никак не больше чем с тремя представителями моей веры, а потому, естественно, заблуждалась и представления у нее на этот счет были совершенно нелепые. И все-таки она питала отвращение к моей вере. Едва ли она так легко простит дедушке ту роль, которую он сыграл в моем первом причастии.

Как раз в эту минуту до меня сверху донеслись громкие голоса; колени у меня все еще тряслись, когда я услышал дедушкины шаги в передней. Я выглянул: он поспешно, со смущенным видом надевал шляпу.

– Пойдем, дружок, – вдруг сказал он мне. – Давно нам с тобой пора избавиться их от нашего присутствия.

Когда мы вышли, я увидел, что он взволнован. Наверно, бабушка крепко отругала его за мое отступничество, но причина его волнения оказалась более серьезной. Накануне бабушка допоздна засиделась у окна спальни и отчетливо видела, в каком состоянии прибыл Мэрдок, а за завтраком сочла своим долгом сообщить об этом папе.

Дедушка же взял себе за правило: что бы ни случилось, держаться подальше от папы, ибо он знал, что зять ненавидит его. Только раз на моей памяти они были какое-то время вместе – это когда папа в порыве великодушия, подогретого мамой, показывал дедушке и мне новые поля орошения в Ливенфорде, но и тогда кончилось это весьма печально. Преисполненный гордости, папа рассказывал нам о различных окисляющих и фильтрационных установках и с жаром истинного ревнителя гигиены объяснял, как при этой системе в конечном счете получается чистая питьевая вода. Он наполнил стакан и протянул его мне.

– Попробуй, сам убедишься.

Я медлил, глядя на мутную жидкость.

– Мне сегодня не хочется пить, – запинаясь, пролепетал я.

Тогда папа протянул стакан дедушке, с лица которого весь этот день не сходила так хорошо знакомая мне ухмылка.

– Вот уж никогда не питал пристрастия к воде, – мягко заметил дедушка. – А к этому напитку тем меньше.

– Вы что, не верите мне? – выкрикнул папа.

– Почему же, поверю, – с улыбкой заметил дедушка, – если вы выпьете.

Папа в сердцах выплеснул воду и пошел дальше.

Как правило, дедушка с папой редко встречались, их пути никогда не скрещивались: стоило только дедушке завидеть в городе инспектора, он тут же делал стратегический крюк. Но сейчас столкновение было неизбежно. При холодном утреннем свете увеселительная прогулка Мэрдока, казавшаяся еще вчера вполне допустимой, приобретала весьма мрачный характер. Папа был ярый трезвенник: «пьянство» он предавал анафеме, к тому же это такая безнравственная трата денег! Разъяренный провалом Мэрдока на экзаменах, он мог дойти до любых крайностей в наказании распутника, столкнувшего его сына с правильного пути.

Когда мы отошли достаточно далеко от дома, дедушка умерил свой быстрый шаг и с весьма напыщенным видом повернулся ко мне.

– К счастью, у нас есть собственные ресурсы, Роби. И друзья, которые дадут нам кусок хлеба, если мы попросим. Пойдем навестим Антонелли.

Я остановился в превеликом смущении.

– Ох нет, дедушка, не надо.

– А почему это?

– Потому что... – Я медлил. И все-таки мне пришлось сказать. Не мог я допустить такого унижения, чтобы перед его носом захлопнули дверь.

Он ничего не сказал, ни слова; при всей своей страсти к разглагольствованиям дедушка умел молча пережить оскорбление. Но удар был тяжкий: лицо его покрылось какими-то странными пятнами. Я думал, что он сейчас повернет обратно в Драмбак, к своим друзьям Сэдлеру и Питеру Дикки. Но нет, он продолжал идти; мы прошли по Главной улице, мимо Ноксхилла и попали в незнакомую мне южную часть города.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.